

ВАСИЛИЙ АВЕНАРИУС

НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ О
ВОСКРЕСШЕМ
ПОМПЕЙЦЕ

Василий Петрович Авенариус

Необыкновенная история

о воскресшем помпейце

Аннотация

«В Помпее случилось нечто невероятное... не в древней Помпее до внезапного исчезновения её с лица земли под вулканическими пеплом Везувия, а в Помпее наших дней, восстающей, спустя без малого два тысячелетия, из-под этого пепла...»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	10
Глава третья	17
Глава четвертая	26
Глава пятая	36
Глава шестая	42
Глава седьмая	50
Глава восьмая	63
Глава девятая	75
Глава десятая	85
Глава одиннадцатая	92
Глава двенадцатая	101
Глава тринадцатая	113

Василий Авенариус

Необыкновенная история о воскресшем помпейце

Глава первая Небывалая находка

В Помпее случилось нечто невероятное... не в древней Помпее до внезапного исчезновения её с лица земли под вулканическими пеплом Везувия, а в Помпее наших дней, встающей, спустя без малого два тысячелетия, из-под этого пепла.

Дело было так. На вакантную должность директора помпейских раскопок с полгода назад был назначен профессор Болонского университета Скарамуцциа. Выбор был как нельзя более удачен. В молодости своей Скарамуцциа был математиком и особенно пристрастия к физике. Физика завлекла его к родственным ей наукам – к технологии и естественной истории, а последняя – к медицине. По всем этим отраслям человеческих знаний он, за время своей тридцатилетней ученой деятельности, успел сделать замечательные открытия и изобретения, заслужившие ему европейское имя.

Совершенно отдавшись науке, он дожил до 50-ти лет, не только не обзаведясь семьей, но не сведя даже дружбы ни с одним из своих ученых собратьев: наука заменяла ему и семью, и друзей. Точно также для него не существовали и произведения искусств, эти плоды «разгоряченной фантазии, взволнованной крови». И вдруг, к немалому удивлению его коллег-профессоров, в его взглядах и симпатиях совершился как бы крутой переворот: он стал усердно посещать картинные галереи и концерты, по часам беседовал с заветными эстетиками о законах стихосложения и контрапункта. Загадка, однако, вскоре разъяснилась: он напечатал объемистый том о художественных древностях. Между этими древностями и ископаемыми животного и растительного царств он проводил строгую параллель, доказывая, что ценность всякого предмета искусства прямо пропорциональна его древности. Взгляд его был более, чем оригинален: он был односторонен. Но в своих замысловатых доводах почтенный ученый высказал опять-таки такое основательное знакомство с сокровищами древнего итальянского искусства, что как только освободилось место главного начальника работ в Помпее, оно было предложено ему, – первому знатоку дела.

На ловца и зверь бежит. Как бы в каком-то предвидение, Скарамучция с особенной энергией возобновил раскопки в нетронutom еще уголке «Улицы гробниц». И вот, после шестимесячных непрерывных работ, настойчивость его была блистательно вознаграждена. Натолкнулись на подзем-

ную гробницу, замуравленную каким-то необычайно-твердым цементом. Благодаря нарочно приспособленным орудиям, удалось пробить этот цементный свод. Под ним оказался темный склеп. Подставили лестницу, и профессор, взяв зажжённый фонарь, лично сам спустился в глубину.

Оставшиеся наверху рабочие, утомленные тяжелой земляной работой, ничуть не любопытствовали заглянуть туда же. Они были довольны уже тем, что могли вздохнуть хоть минутку, поболтать на досуге, и расположились кругом на каменных гудах. Вдруг из-под земли их громко окликнул начальник:

– Сейчас позвать ко мне синьора Пульчинеллу, да принести мой плед и салициловой кислоты!

– Живо, живо, братцы! – сказал товарищам своим старший рабочий Джузеппе, и те со всех ног бросились исполнить приказание неумолимо-взыскательного директора.

Сам Джузеппе подошел к краю темной ямы, чтобы узнать, на что тому могли понадобиться плед и салициловая кислота. При слабом свете фонаря в глубине он различил прежде всего, разумеется, самого начальника с его огромной лысиной от лба до затылка и с роговыми очками на орлином носу. Стоял он над каким-то ящиком или гробом, в котором лежал, по-видимому, покойник. В руках же у директора была какая-то бумага, которую он читал и перечитывал с таким вниманием, что совершенно забыл, казалось, о присутствии мертвеца.

Осенив себя крестом, Джузеппе спустился по лесенке туда же. В гробу, действительно, оказался вполне сохранившийся труп или, вернее, мумия молодого еще человека, до того он иссох, – одни кости да кожа. Бумага же в руках директора была какой-то исписанный, пожелтевший от времени пергамент, который он, видно, нашел около мумии; и содержание рукописи должно было быть особенно радостно, потому что суровое, мрачное лицо ученого, никогда почти не озарявшееся улыбкой, просто сияло от удовольствия.

– *Signore direttore!* – решил заявить о своем присутствии Джузеппе.

Скарамуцциа обернулся и, увидев подчинённого, против обыкновения милостиво хлопнул его по плечу.

– А! это ты, *fratello Giuseppe!*¹ Ну, я тебе скажу, это такой подарок неба...

– Пергамент-то?

– Нет, не пергамент; вон субъекта этот.

– Да что это, иностранный принц какой, что ли?

– Не принц, древний помпеец! Помпеец времен Тита...

– А Тит-то, кто же?

– Дурень!

– Дурень?

– Ты, ты – дурень, *carissimo!*² Тит – древний римский император первого века нашего христианского летосчисления.

¹ Братец Джузеппе.

² Любезнейший.

Понял?

– Понял.

– Ну, слава Богу. Гляди же.

Профессор с величайшей осторожностью прикоснулся пальцем до щеки мумии, и кожа на ней, под давлением пальца, поддалась.

– Замечаешь?

– Замечаю: мертвец, как быть следует. Предать земле, – и аминь.

Скарамуцциа с испугом отмахнулся.

– Господь с тобой! Зарыть такую драгоценность? Да я бы за нее не взял и ста тысяч лир³.

Джузеппе скорчил такую рожу, будто серьезно сомневался, в своем ли уме директор. Дальнейший разговор их был прерван прибытием помощника директора, синьора Пульчинеллы.

– На несколько дней, а может быть и недель, синьор Пульчинелла, вам придется здесь, в Помпее, вполне заступить меня, – объявил ему Скарамуцциа. – Я сделал такую находку, которая требует моего безотлучного пребывания в Неаполе. А что же плед и салициловая кислота?

– Ессо!о!⁴ – в один голос отозвались двое из подоспевших также рабочих, подавая ему то и другое.

³ Лира – итальянская монета, то же, что французский франк, по номинальной стоимости – 25 копеек.

⁴ Вот!

Распустив плед и опрыскав его из склянки противогнилостною жидкостью, Скарамуцциа накрыл им мумию, после чего приказал рабочим наложить сверху крышку.

– Чем менее, друзья мои, вы будете разглашать о сегодняшней находке, тем лучше, – внушил он им. – А теперь снесите-ка мое сокровище на станцию. Только чур, не расстрясите... Тише, тише!

– Ай, да сокровище... – перешептывались те между собой, вытаскивая на веревках гроб из ямы.

Глава вторая

Воскрешение помпейца

Гроб был пристроен в багажном вагоне. Самому себе Скарамуцциа велел подать туда скамейку и уселся около своей находки: упустить ее из глаз хотя бы на время переезда до Неаполя казалось ему невыносимым.

Да! Этакого счастья ему и во сне не снилось. Несколько лет назад, в период увлечения своего медициной, ему довелось побывать в Индии. Там он имел случай наблюдать на месте зарытие в землю фанатика-факира. В течение целого месяца чудак этот приучал себя голодать, пока вовсе почти не обходился без пищи. Тогда его обмыли какими-то эссенциями; свернули ему во рту язык назад так, чтобы зажать изнутри отверстия ноздрей; клочками ваты, упитанной скоро-отвердевающим бальзамом, плотно заткнули ему рот, нос и уши; наконец, вымазали ему все тело особым составом и, как настоящего покойника, зарыли его в землю. Три месяца пролежал он так, не принимая пищи, не подавая ни малейших признаков жизни. Тут его вырыли, раскупорили тем же порядком, оттерли с головы до ног пахучими маслами и влили ему в высохшую глотку оживляющих капель.

Когда затем, вдуванием воздуха в лёгкие, нажатием грудной полости и механическим движением рук, стали возбуж-

дать в нем искусственное дыхание, – труп внезапно ожил, восстал из мертвых.

С тех пор прошли годы. Профессор наш давным-давно забыл про бальзамированного факира. И вдруг сегодня судьба посылает ему этого редкостного «субъекта»! При первом взгляде ему бросилось в глаза поразительное сходство помпейца с тем факиром, – сходство не случайное, природное, а приданное обоим одинаковым способом сохранения их тел от тления. Сердце в груди невозмутимого ученого ёкнуло, замерло. Он не смел почти верить в свое баснословное счастье. С трепетом взял он в руки ветхий пергамент, лежавший на груди бальзамированного. Но пергамент разом разрешил все сомнения: то был самый обстоятельный рецепт на латинском языке, как оживить бездыханного по истечении 30-ти лет, на который тот дал зарыть себя. Поставленное внизу число показывало, что зарытие состоялось за несколько дней лишь до разрушительного извержения Везувия, засыпавшего Помпею.

И вот, теперь этот единственный в своем роде экземпляр в полном его распоряжении! Здесь, в полупотемках багажного вагона, где его никто не видит, ему нечего стыдиться своей безумной радости.

– Милый ты мой! хороший ты мой! – бормотал он, ласковой рукою проводя по крышке гроба, как бы отечески трепля покоящегося внутри.

А ну, как он не справится с рецептом? – Да нет, он в свое

время так основательно изучил медицину, что изготовить все эти аптекарские снадобья для него, но составит особенного затруднения. Собственноручно изготовить он их, ни души посторонней не допустить!

Никто не предвосхитить у него этого научного клада. Поскорей бы только добраться до Неаполя. А! наконец-то свисток!

Поезд вкатился в вокзал. Несколько носильщиков сразу вскочили в багажный вагон.

– Прикажете принять?

– Да, только, ради Бога, осторожнее, братцы!

Перенесение помпейца до городской квартиры профессора на набережной ди-Киайя совершилось без всяких приключений. Для такого дорогого гостя Скарамуцциа отвел лучшее свое помещение – рабочий кабинет. Рассчитав носильщиков, он тотчас занялся приготовлением указанных в рецепте средств, а затем, при помощи единственного доверенного лица – испытанного камердинера своего, Антонио, приступил к предписанным в рецепте манипуляциям над бальзамированным...

К сожалению, мы пока не вправе выдать самый способ предпринятого оживления, ибо способ этот до поры до времени составляет секрет синьора Скарамуцциа, который располагает взять на него привилегию. Можем сказать только, что первые старания почтенного профессора были безуспешны. Даже после заключительной операции – возбуж-

дения искусственного дыхания, помпеец продолжал лежать пластом, не пошевелил ни пальцем.

– Согро di Dio!⁵ Отдохнем немножко.

Не желая показывать камердинеру своего отчаяния, Скарамуцциа опустил в кресло и закурил сигару. Три битых часа, ведь, он, заклятый курильщик, не делал ни одной за-тяжки. – и все напрасно.

Антонио также доработался до третьего пота. Отирая платком лицо, он в совершенном изнеможении прислонился к дверям. Хотя профессор и отвернулся от него к окошку, камердинер хорошо видел, с какою нервностью тот пускал к потолку клубы дыма: очевидно, и у господина его не оставалось уже надежды воскресить мертвеца.

– Да не сходить ли сейчас за гробовщиком? – решил предложить Антонио.

Скарамуцциа грозно на него оглянулся.

– Что?!

– Я только думал, сударь, что все равно толку не будет...

– Смей ты у меня только еще заикнуться!

Он быстро подошел опять к бальзамированному и кивнул камердинеру, чтобы тот взялся также за дело. Очень может быть, что и на этот раз все усилия их ни к чему бы не привели, если бы Скарамуцциа вынул изо рта сигару. Продолжая же курить, он волей-неволей пускал в лицо распростертого перед ним помпейца струю за струей табачного дыма. Не ме-

⁵ Господи помилуй!

шает здесь кстати заметить, что итальянский табак довольно низкого качества, и у непривычного человека от едкого дыма его неизбежно запершит в слизистых оболочках носа и горла. Вдруг ноздри помпейца задрожали, раздулись, и он чихнул и фыркнул так звонко, что наклонившийся над ним Скарамуцциа отшатнулся. Вслед затем мнимоумерший, не раскрывая еще глаз, поморщился и пробормотал, разумеется, по-латыни:

– Что это за отвратительный запах гари?

И господин, и камердинер от неожиданности просто остолбенели. Господин пришел в себя первый.

– Ах, голубчик ты мой! Ну, Антонио, скорей же вина и устриц!

Услышав чужой голос и незнакомую речь, помпеец повел кругом непрояснившимися еще глазами и остановил их на хозяине.

– Где я, и что со мною?

Скарамуцциа, как человек ученый, знал, разумеется, по-латыни, и объяснялся даже довольно свободно на этом языке.

– Ты в Неаполе и у добрых друзей. – отвечал он. – Ты помнишь вероятно, что дал когда-то закопал себя?

– А! правда. И я теперь ожил?

– Ожил – после довольно долгого сна.

– А именно?

Скарамуцциа опасался испугать едва ожившего и укло-

нился от прямого ответа.

– Как раз вовремя, чтобы дать мне познакомиться с тобой, – сказал он. – Не забывай, что ты пациент. Первым делом надо тебе подкрепиться. Эй, Антонио! Скоро ли?

– Несу, синьор, несу.

Не без некоторого усилия проглотил расслабленный пациент с полдюжины устриц. Когда же хозяин влил ему в рюмку старого вина, он сперва поперхнулся, раскашлялся, а потом закрыл опять глаза и впал тотчас в глубокое забытьё.

– Теперь мне можно идти, синьор? – спросил шёпотом Антонио.

– Ступай. Но, как сказано, – я никого не принимаю, ни единая душа не должна знать, что происходил в этих четырёх стенах.

– Синьор хочет делать над этим... «субъектом» научные опыты?

– Да. Но тебя это, я думаю, не касается?

– Точно так. Но, извините, синьор: у меня в груди тоже не камень, знаете, а сердце. Вы не станете его очень мучить?

– Мучить?

– Да, как, бывало, знаете, этих лягушек да кошек. Не будете вытягивать ему жилы, распарывать живот, сдирать с него кожу?

Скарамуцциа нетерпеливо дернул плечом.

– Ты – малолетний. Антонио! Субъект мой – не лягушка, не кошка, а человек, как и мы с тобой. Интересует же он ме-

ня, как одушевленная древность, и изучить его с духовной, нравственной стороны я хочу ранее моих ученых коллег. Это ты, надеюсь, понимаешь?

– Как не понять.

Человеколюбивый камердинер на цыпочках удалился. Господин же его уселся за письменный стол, развернул большую, совсем чистую еще тетрадь, вывел на заглавной странице крупными буквами: «Мой дневник о помпейце» и принялся писать самый обстоятельный отчет о том, как был им найден и оживлён помпеец.

Глава третья

Репортер «Трибуны»

Прошло два часа, прошло три; помпеец все еще не просыпался. Нисколько раз Скарамуцциа тревожно подходил к нему, наклонялся над ним: дышит ли он еще? Едва слышное, но ровное дыхание спящего всякий раз успокаивало нашего ученого.

Тут из-за дверей, из третьей комнаты донеслись к нему звуки двух спорящих голосов. Затем раздался легкий троекратный стук в дверь: так стучался один Антонио.

– Entrate!⁶

Стучавший, действительно, был Антонио. В одной руке у него была вазочка, наполненная визитными карточками, в другой – небольшая пачка таких же карточек.

– Это что такое? – с неудовольствием спросил его профессор.

– Карточки от разных господ, что хотели видеть вашу милость, узнать подробности про воскресшего.

– А ты уже проболтался, что мы его воскресили?

– Ой, нет, синьор! Я от всего отпирался. Да вот эти пятеро, – продолжал Антонио, указывая на бывшую у него в руке отдельную пачку карточек, – просто штурмом ломались в

⁶ Войдите!

дверь. Еле-еле сдержал их.

– Да кто они такие?

– Газетные писаки. Извольте сами прочесть.

Профессор принял карточки и, хмурясь, прочел сквозь зубы:

– «Бартолино», репортер «Неаполитанского Курьера»; «Меццолино», репортер «Утра»; «Труфальдино», репортер «Родины»; «Педролино», репортер «Жала»; «Баланцони», доктор изящных искусств и корреспондент-репортер римской «Трибуны».

– Ну, да, так и есть! – проворчал он.

– Да, – подхватил Антонио, – четырех-то из них я кое-как еще ублажил; вечерком обещались понаведаться. С пятым же не сладил: ворвался он силой в гостиную и говорить: «доложите, мол, что не уйду, покуда самого не увижу».

Скарамуцциа в сердцах даже топнул ногой.

– *Cospetto del diavolo!*⁷ Нечего делать. Ты, Антонио, побудь уж покамест тут: неравно пациент наш проснется.

Он сам прошел в гостиную. Непрошенный гость развалился в мягком кресле, точно был лучшим другом дома. Это был мужчина средних лет, довольно неказистый на вид и неряшливо одетый, но в правом глазу у него был ущемлён монокль, вокруг измятого воротничка был намотан ярко-пунцовый шарф, приколотый золотой булавкой величиною с маленький грецкий орех и изображавшей мертвую

⁷ Это чёрт знает, что такое!

голову; а на толстой золотой цепочке болтался карандаш в форме золотого пистолетика. Впрочем, за качество металла мертвой головы, цепочки и пистолета мы не ручаемся.

При входе профессора, гость на половину приподнялся, небрежно-элегантным жестом пригласит хозяина сесть рядом на диван и сам опустился опять в кресло.

– Лично, *signore direttore*, я не имел еще чести быть представленным вам, – начал он, – но позволю себе надеяться, что имя здешнего репортера римской «Трибуны» *dottore Balanzoni*, вам не совсем безызвестно?

– Слышал, – холодно отвечал профессор. – Чему я обязан честью видеть вас, *signore dottore*?

– Во-первых, я счел долгом от имени всей нашей отечественной печати принести вам искреннее поздравление с вашей удивительной находкой!

Скарамуцци принял недоумевающий вид.

– Я вас не понимаю, сеньор. О какой такой находке говорите вы?

Гость с приятельской фамильярностью хлопнул его по колену. *Bello, bellissimo!*⁸ Кого вы вздумали морочить? Коли вес Неаполь толкует теперь только о вашем помпейце, так как же мне-то, первому репортеру, не знать о нем? Но что пока известно еще очень немногим – это то, что вы его оживили.

– С чего вы взяли? Неужели Антонио...

– Нет, Антонио ваш, я должен отдать ему честь, нем, как

⁸ Премило!

рыба, – с тонкой усмешкой отвечал репортер. – Но отчего же вы сами сейчас так испугались? Что значили ваши слова: «Неужели Антонио?..» Если бы оживление не удалось, то восклицание это не имело бы смысла... Погодите же, куда вы! – вскричал он, удерживая за полу профессора, который вскочил с места. – Ведь помпеец ваш спит; стало быть, вам некуда торопиться.

– Почему вы знаете: спит он или нет?

– Наверное, спит: иначе вы не оставили бы его одного. Только напрасно вы его с первого же раза так основательно напоили.

– Напоил?

– Ну, да, потому что без крепкого вина его, очевидно, сразу бы опять не укачало.

– Ну, *Lacrymae Christi* вовсе не так уже крепко...

– Однако, в таком количестве!

– В каком количестве? Одна рюмка и ребенку не повредит; а он взрослый мужчина...

– Да ведь с непривычки и почти натошак...

– Как врач, я руководился строгими правилами гигиены, и более полдюжины устриц, поверьте мне, я не смел ему дать.

– Не знаю, как и благодарить вас, *signore direttore!* – сказал Баланцони, с притворною сердечностью потрясая обе руки ученого. – Благодаря вашей любезной сообщительности, мой завтрашний фельетон, можно сказать, готов: воскрешение из мертвых – раз; рюмка *Lacrymae Christi* – два; полдюжины

устриц – три; сон – четыре... А уж мое дело, фельетониста, разукрасить эти данные подходящими арабесками.

– Maledetto!⁹ – пробормотал про себя Скарамуцциа.

– Но скажите, *signore direttore*, – продолжал репортер: – к чему вы делаете из вашего помпейца какой-то секрет?

– Я возвратил его к жизни; значит...

– Значит, можете и распоряжаться им, как вашу собственность? В наш просвещенный век, слава Богу, свобода личности вполне ограждена, и сам помпеец ваш первый запротестует против вашего самоуправства с ним!

– Личная свобода человека вообще, конечно, священна, – отвечал профессор, морщась и нетерпеливо потопывая по ковру ногой; – по, не касаясь теперь вопроса о том, может ли такой выходец с того света почитаться равноправным с нами, современными людьми, – не следует забывать, что он страшно отошал, и что на первое время для правильного откармливания его нужен безусловный покой.

– На первое время – пожалуй, согласен. А потом еще что же?

– Потом... От огромной массы новых впечатлений может пострадать у него цельность и ясность этих впечатлений. А для науки, как знаете, систематичность наблюдений особенно необходима, потому что он для нашего века новорожденный; душа его, как у младенца, по меткому выражению Аристотеля, – *tabula rasa*, незапятнанная доска, на которой вся-

⁹ Проклятье!

кий может писать, что ему угодно; а дайка эту доску в иные руки, – скоро на, ней ни одного чистого местечка не останется.

– Сравнение это принадлежит Аристотелю, говорите вы? – переспросил Баланцони, хватаясь за висевший у него на часовой цепочке пистолетик-карандаш.

– Аристотелю; сколько помнится, он говорит об этом во 2-й книге своего рассуждения о душе. Впрочем, и Цицерон сравнивает человеческую душу, непросветленную наукою и опытом, с плодородным полем, еще невозделанным и необсеменным.

– Не припомните ли также, где говорит он это?

– Говорит он это в своей речи... Да что вы там делаете, синьор? – прервал вдруг сам себя Скарамуцциа, видя, как гость его отодвинул обшлаг левого рукава и на своей манжетке принялся быстро отмечать что-то карандашом.

– Это у меня, извольте видеть, – пистолет, не огнестрельный, но не менее меткий, это – упрощенная записная книжка. Итак, к четырем первым пунктам я могу прибавить еще три: безусловный покой для правильного откармливания, Аристотелева *tabula rasa* из 2-й книги его рассуждения о душе, и, наконец, невозделанное поле Цицерона... Виноват, вы не досказали, в какой речи его упоминается об этом поле?

– Милостивый государь! – вспыхнул Скарамуцциа. – Вы записываете все мои слова?

– Ни все! – успокоил его репортер с приятнейшей улыб-

кой. – Только те, которые могут пригодиться для моего фельетона... Нет, нет, не перебивайте! Выслушайте сначала, а там решайте сами. Что мы, репортеры, народ довольно настойчивый, вы, я думаю, успели уже убедиться?

– Даже более, чем настойчивый...

– Назойливый, невыносимый, хотите вы сказать? Ну, вот, так я берусь избавить вас до поры до времени не только от моей собственной персоны, но и ото всех моих собратьев по перу, чтобы не мешать вам в ваших научных наблюдениях над помпейцем. Согласитесь, что это чрезвычайно мило?

– Согласен.

– Пока я буду довольствоваться теми немногими сведениями, которые вы соблаговолите передать мне для удовлетворения всеобщей любознательности. Но все это, конечно, под одним условием...

– Чего же вам нужно?

– Очень немногого. Как только ваши эксперименты с помпейцем будут окончены, и он должен быть выпущен на свет Божий, вы тотчас предваряете меня о том и затем уже не препятствуете мне (только мне одному, слышите, а не моим коллегам!) общаться с ним, вывозить его, куда мне вздумается, и т. д., и т. д.

– Гм... – промычал Скарамуцциа. – Я вижу, *signore dottore*, что от вас не отвяжаться. Но все-таки для меня непонятно, как вы принудите ваших коллег...

– Сейчас поймете, почтеннейший, сию минуту. Дайте мне

только сперва ваше слово, – слово уважаемого всей Европой ученого, – что вы без всяких оговорок принимаете мою сделку.

– Ну, хорошо, хорошо! – со вздохом покорился тот неизбежному. – Итак?..

– Итак, извольте видеть: здесь, в Неаполе, все уже знают про вашего помпейца, и пока вы здесь, вам не будет отбоя от любопытных. Увезите же его отсюда на несколько дней в какую-нибудь глушь, увезите тихомолком в ночную пору, чтобы никто здесь и не подозревал, куда вы делись.

Скарамуцци хлопнул себя рукой по лбу.

– Какая ведь простая идея, а не пришла мне самому в голову!

– Гениальные идеи по большей части очень просты, – самодовольно усмехнулся Баланцони. – Как видите, они приходят иногда и простым смертным.

– Но пациент мой, боюсь, слишком слаб еще для такой поездки.

– Так вот что, – нашелся снова гениальный репортер: – оставайтесь-ка с ним преспокойно здесь, в городе...

– На этой самой квартире?

– На этой самой квартире; сделайте только вид, будто уехали. Я же, с своей стороны, озабочусь, чтобы завтра же во всех здешних газетах появилось сообщение «из самых верных источников», что вы с ночным поездом укатили в Рим, захватив с собой вашего драгоценного пациента.

– Вот это так! Вы, *signore Balanzoni*. я вижу, в самом деле, не такой уже...

– Простой смертный, как вы думали? Покорно благодарю! На этом разговор был прерван показавшимся в дверях Антонио. Профессор вскочил навстречу ему с дивана.

– Ну, что? проснулся?

– Точно так, синьор. Но что такое он лопочет, – хоть убейте, не разберу.

– А он еще в постели или уже встает? – вмешался тут Баланцони.

– Тс! Ни полслова! – остановил камердинера хозяин, зажимая ему рот рукою.

– Но уговор наш, *signore direttore*, остается, конечно, в силе?

– Да, да... До свидания...

И Скарамуцциа без оглядки поспешил к своему пациенту.

Глава четвертая

Исповедь помпейца

Помпеец, действительно, проснулся. Глаза его с недоумением блуждали по комнате с предмета на предмет. Он, очевидно, не мог уяснить себе, куда это занесло его. Еще более озадачен казался он при виде входящего хозяина, одетого не в древнеримскую тогу, а в современный костюм: пиджак да брюки. По простая вежливость гостя в чужом доме не позволяла уже ему обнаруживать свое удивление по поводу этого уморительного кургузого наряда. С благодарной улыбкой он протянул профессору свою исхудалую руку.

– Прости, что я не встаю: один я не в состоянии еще приподняться. Ведь ты, конечно, спаситель мой?

– Мне, точно, выпало счастье возвратить тебя к жизни, – отвечал Скарамуцциа, осторожно пожимая поданную ему руку.

– Да благословят же тебя всемогущие боги! Дозволь мне теперь первым долгом возблагодарить святых пенатов приютившего меня крова.

По строгим губам ученого, не знавшим настоящего смеха, проскользнуло подобие усмешки.

– К сожалению, это неисполнимо, – сказал он, – пенатов у меня в доме нет.

– Да, в самом деле, – догадался помпеец: – ты, должно быть, чужеземец, судя по твоему странному одеянию.

– Нет, я итальянец, римлянин, как и ты.

– И у тебя нет пенатов?

– Нет, потому что я – христианин.

Помпеец с испугом осмотрелся кругом, не слышал ли кто посторонний этого безумно-смелого признания.

– Ты... ты приверженец той опасной ереси? – прошептал он, не смея громко произнести даже слово «христианин».

Профессора все более забавляло детское неведение взрослого младенца. Но, чтобы пациента не чересчур поразили дальнейшие новости, которые, так ли, сяк ли, предстояло ему узнать, надо было предварительно подкрепить опять его физические силы. Скарамуцциа кликнул Антонио, и, немного погодя, помпеец с жадностью уплетал жареного цыпленка, запивая его огнистым вином. Обсосав последнюю косточку, он со вздохом обтер салфеткой губы.

– Что, еще бы поел? – спросил хозяин, с удовольствием наблюдавший за аппетитом гостя.

– Да, признаться, еще пару таких же цыплят сейчас одолел бы...

– Успеешь: после такой голодовки сразу нагрузить совершенно пустой желудок не безопасно. Теперь, если хочешь, я готов ответить тебе на всякий вопрос. Ты был удивлен, что я, как итальянец, исповедую христианскую веру. Что скажешь ты, когда узнаешь, что все вообще итальянцы, все европей-

цы открыто исповедуют ту же веру?

– Не может быть! Ты шутишь?

– Не думаю шутить. Разве я похож на шутника?

– Но этот шутовской наряд...

– Весь образованный класс ходит теперь в таком же платье.

– Что я сплю еще, или ум у меня мешается?

– Ни то, ни другое, друг мой. Ты только пролежал довольно долго в земле.

– До тридцати лет?

– Несравненно долее.

– Неужели сто лет?

– Слишком восемнадцать столетий.

– О, Лютеция! – вырвалось из уст помпейца, и глаза его подернулись слезою. – Стало быть, её не только нет уже в живых, но пепел её развеяло на все четыре стороны...

Он погрузился в глубокую задумчивость. Скарамуцциа счел за лучшее не прерывать его грустных размышлений, чтобы дать ему оправиться и привыкнуть к действительности.

– Ты нашел меня в моей помпейской усыпальнице? – вдруг очнувшись, спросил помпеец.

– Да, только нынешним утром.

– Через восемнадцать столетий! Но чем объяснить, что до сих пор никто другой не вырыл меня?

– Ты лежал под грудой пепла.

– Так моя усыпальница сгорела?

– Раз, милый мой, тебе надо узнать правду: всю Помпею Везувий засыпал своим пеплом.

– Великий Юпитер! И ничего от неё не осталось?

– Напротив, вся она прекрасно сохранилась, – благодаря именно тому, что была засыпана. Ты слышал, конечно, про знаменитого натуралиста твоего времени Плиния?

– Как не слышать! Я имел честь даже принимать его у себя на вилле моей вместе с молодым племянником его, Каем-Плинием-Цецилием.

– Так вот дядя, Плиний Старший, погиб, наблюдая тогда извержение Везувия; племянник же, Плиний Младший, спасся и описал потом это извержение. Если хочешь, я сейчас прочту тебе его рассказ?

– Прочти, прочти, сделай милость!

Доставь из книжного шкафа требуемый том, Скарамуцция прочел вслух отчет очевидца о разрушении Помпеи.

– И мне одному суждено было пережить всех их на столько веков... – проговорил помпеец. – Ну, что ж! богам угодно было продлить мой век, – исполним их высшую волю. Но до сих пор я не знаю еще, кому обязан своею жизнью?

Скарамуцция удовлетворил его вопрос; затем, в свою очередь, заметил:

– Но ведь и мне еще неизвестно, кто гость мой?

– Виноват, великодушный друг! – воскликнул помпеец. – Первою обязанностью моей, разумеется, должно было

быть, – успокоить тебя, что ты спас и приютил у себя не совсем недостойного. Слушай же. Я ничего от тебя не скрою.

Зовут меня Марком-Июнием-Фламинием. Фламинии, как ты, может быть, слышал, одна из древнейших фамилий римских патрициев. Отец мой. Марк Туллий Фламиний, в течение долгих лет занимал место проконсула в Родосе. К несчастью, он ослеп и вынужден был отказаться от дальнейшей службы. Мы возвратились в Рим; но, чтобы сделать из меня, своего единственного сына, достойного себе преемника, он взял с собою из Греции в наставники мне молодого философа Аристодема. До сей минуты не могу вспомнить об этом дорогом мне человеке без сердечного умиления! Он принадлежал к благородной школе Платона и, взявшись воспитать меня, весь отдался своей задаче, стараясь пробудить во мне одни чистые, светлые стремления, любовь к ближнему, к науке, к прекрасному. Пускать в дело ферулу¹⁰ ему никогда не приходилось: не выпуская из рук грифеля и восковой доски, я готов был весь день сидеть у ног его и слушать его мудрые поучения. Но расчёт отца все-таки не совсем оправдался. Мне не было еще и 17 лет, как отец умер, оставив меня полным наследником всего своего состояния, очень значительного. Пустыми мирскими развлечениями римской молодежи я, правда, уже не увлекся. Но Аристодем давно томился тоской по родине и наговорил мне столько чудесного о своей

¹⁰ Ферула – линейка, которою били по ладоням ленивых и непослушных учеников.

милой Греции, что увидеть опять эту колыбель древнего искусства, которую я помнил только как сквозь сон, стало моей заветной мечтою. И вот, мы снарядили корабль, посетили сперва Родос и другие острова Греческого Архипелага, а там добрались и до самой Греции. Мы не пропустили, кажется, ни одного города, ни одного местечка, где совершилось что-либо замечательное, где сохранился какой-либо памятник искусства. Так одна Греция заняла у нас два года. Двухлетняя кочевая жизнь до того избаловала меня непрерывно-сменяющимися впечатлениями, что обратилась в неутолимую страсть. Наставник мой старался было образумить меня; но и самого его, может-быть, тянуло в чужие, неизведанные страны, и он не долго упорствовал, когда убедился, что я в конце концов настою на своем.

Так побывали мы с ним в Египте, в Мидии и, наконец, забрались в самую глубь Азии – в Индию.

Но тут я был жестоко наказан за свое упорство: Аристомедом, в котором я видел уже не столько наставника, сколько лучшего друга и старшего брата, заразился индийской повальной болезнью – холерой, и в 24 часа его не стало. Надо ли говорить о моем отчаянии? Довольно того, что я потерял всякую охоту к жизни, – и стал отказываться даже от пищи. Неизвестно, чем бы я кончил, если бы во мне не принял участия один индийский факир, Амбаста, с которым мы последнее время перед тем вели горячие ученые споры. Участие его ко мне было, правда, скорее научное, чем человеческое.

– Ты, значить, уже не дорожишь жизнью? – спросил он меня.

– Нисколько, – отвечал я.

– Но науку ценишь?

– Ценю.

– Так пожертвуй собою для науки!

– Каким образом?

– Ты, помнишь, оспаривал, чтобы человек мог прожить три месяца без глотка воды, без куска пищи?

– И теперь не верю.

– Так отдайся мне ради науки!

– Но что ты сделаешь со мною?

– Боли тебе я никакой не причиню. Ты сам не заметишь, как заснешь; а через три месяца увидим, – кто был прав.

– То-есть, ты один увидишь, что я был прав; я уже не проснусь.

– Не проснешься, – так достигнешь только того, чего сам хочешь: вечного покоя, нирваны; стало быть, ничего не потеряешь. Итак, отдаешься, или нет?

– Отдаюсь, пожалуй.

Факир мой не дал мне одуматься, набальзамировал меня, как бездушный труп, усыпил меня наложением рук и закопал в землю. Сам я этого уже не сознавал; не чувствовал, сколько времени пролежал так в земле. Но когда я очнулся, то оказалось, что я пролежал ровно три месяца. Я должен отдать справедливость Амбасте, что он принял все меры, что-

бы вернуть меня к жизни. Он даже перемудрил, не в меру поусердствовал: точно он налил мне в жилы какой-то чудотворной жидкости, у меня явился волчий голод, а кровь в жилах ключом заиграла. О смерти я забыл и думать; жизни, самой веселой, безрассудной жизни жаждал я всем существом. Но строгий быт богомольных, трудолюбивых индусов не давал мне развернуться. Легкомысленные потехи беспечных, разгульных римлян, которыми я когда-то пренебрегал, представлялись мне теперь особенно заманчивыми. То, чего у нас нет, всего более, ведь, нас прельщает. Я тут же решил вернуться в Рим. Как ни отговаривал меня мой аскет-факир, который смотрел на меня уже как на свою собственность, я настоял на своем. Тогда он, скрепя сердце, собрался также вместе со мною. Он предвидел, что я еще пригожусь ему для новых опытов, а может быть, впрочем, он несколько тоже привязался ко мне. В Риме я тотчас обзавелся лучшими учителями по всем частям, требующим телесной ловкости, и вскоре в фехтовании, в метании дротика, в стрельбе из лука, в езде на колеснице, а также во всяких безрассудствах, между молодыми патрициями не было мне равного. Тут до меня дошел слух о молодой Лутеции, которая яркою звездой блистала между всеми красавицами Помпеи. Подобно другим патрициям, я собирался купить себе приморскую виллу, где мог бы спастись от летних жаров. Теперь выбор мой остановился на Помпее. Вилла была скоро найдена, знакомство с отцом красавицы, квестором Помпонием, было скоро

заключено. Как Юлий Цезарь, я с первого шага в дом рассчитывал «прийти, увидеть, победить». А между тем «пришел, увидел и был побежден» – побежден и божественной красотой её, и еще более дивной игрой её на арфе. Сама Эвтерпа¹¹ водила её перстами! Земное счастье без её казалось мне невысказано. Но, смелый с другими, я робел перед нею, как мальчик, боялся заговорить с нею о женитьбе. Нерешительность моя меня погубила. Пока я колебался, Лютетия с отцом собралась к родным в Кумы. Там судьба свела ее с дальним родственником, Публием-Кассием, писанным красавцем и щеголем первой руки. Заворожил ли он ее сладкими речами, подсыпал ли ей волшебного зелья, – только домой, в Помпею, она вернулась уже его невестой. Не скажу про него более ничего дурного: его нет ведь тоже на свете. *De mortuis nil nisi bene*¹². Но для меня точно солнце погасло на небосклоне: и глядеть на Божий свет мне стало тошно и горько. Мой единственный друг, факир, старался меня ободрить и утешить.

– Время – лучшее лекарство, залечивает всякие раны, – говорил он. – Погоди какие-нибудь 20-30 лет, – такова ли будет твоя Лютетия? – Ты и глядеть-то на нее не захочешь!

– Легко сказать – 30 лет! – возразил я. – Если бы я еще мог это время проспять беспробудно...

– А в самом деле ведь! – сказал Амбаста. – Проспи, – я

¹¹ Эвтерпа – муза лирического песнопения и музыки.

¹² О мертвых одно хорошее.

тебя усыплю, и проснешься ты тем же еще молодым человеком, а она будет уже старой матроной. Науке же ты принесешь этим новую услугу. Я твердо убежден, что пролежать в земле без нищи можно не 3 месяца, а хоть 30 лет.

Имея средство продлить свою жизнь, он, видно, рассчитывал ташке дожить до моего пробуждения. Мне терять было нечего, – и я дал снова зарыть себя, замуровать на целые 30 лет. Кто мог предвидеть, что из этих 30 лет станет 18 веков! Ни Лютеции, ни соперника моего, ни факира нет уже и следа...

– Исповедь моя кончена, – печально заключил свою повесть Марк-Июний. – Факир не ошибся, – я проснулся, воскрес из мертвых; но на радость ли, – одним бессмертным известно.

– Конечно, на радость! – подхватил Скарамуцциа. – Что случилось с миром за время твоего векового сна, – ты и представить себе не можешь. Как человеку смышленому и ученому, тебе всякое приобретение науки должно быть тоже дорого и мило. А сколько этих приобретений накопилось до сих пор, – и счесть нельзя. Если бы я не боялся слишком утомить тебя, то сейчас бы прочел тебе небольшую вступительную лекцию...

– Я буду тебе даже благодарен. Это меня хоть несколько рассеет.

– Стало быть, можно? Изволь, слушай. Итак, что такое цивилизация?..

Глава пятая

Вступительная лекция

Скарамуцциа обладал большим даром красноречия. Когда он, бывало, в Болонье всходил на кафедру, аудитория кругом была битком набита студентами всех факультетов. Чтобы не развлекаться множество устремленных на него глаз, он снимал с носа очки, зажимал глаза. Постепенно увлекаясь своим предметом, он забывал слушателей и весь мир вокруг себя и проповедовал как бы в бессознательном состоянии ясновидения. Так было и на этот раз. Отложив в сторону очки и зажмурясь, он с добрых полчаса уже читал свою вступительную лекцию, а единственный слушатель его хоть бы шелохнулся.

– Итак, вот в чем наиболее ценные плоды цивилизации! – громогласно провозгласил он и в первый раз раскрыл глаза.

Слова замерли у него на губах: гостя вдохновенная лекция его просто убаюкала! Для знаменитого лектора такое снотворное действие его чтения было так необычно, что он надел очки и внимательно оглядел распростертого перед ним помпейца. Так и есть: ведь спит самым бессовестным, здоровым сном!

– Марк-Июний!

Тот встрепенулся, раскрыл один глаз и сладко зевнул.

– А? что такое?

– Ты, я вижу, преспокойно проспал всю мою лекцию?

– О, нет, я все слышал... все слышал... – поспешил уверить смущенный Марк-Июний, протирая глаза.

– Если слышал, то повтори-ка мои последние слова?

– «Итак, вот в чем наиболее ценные плоды цивилизации!»

Верно?

– Верно. Ну, а в чем же эти плоды?

– В чем?.. Ты слишком требователен для первого урока. Дай мне сперва присмотреться...

– Так назови, укажи мне хоть один такой плод?

Помпеец окинул фигуру профессора быстрым взглядом и тонко улыбнулся.

– Вот хоть бы этот наряд твой. По-твоему, он, конечно, очень изящен; по-моему, же, извини, просто безобразен.

– О вкусах не спорят, – сказал сухо Скарамучция. – К современному платью во всяком случае мы привыкли, и оно практичнее ваших древних цветных плащей, потому что не так марко. Гоняться же за красотой в нарядах недостойно разумного мужчины.

– Благообразие, я полагаю, не лишне и мужчине, – возразил Марк-Июний. – Но так как ты, я вижу, ничуть не заботаешься о своей внешности, то эта штука у тебя на носу, конечно, служит тебе не украшением, а полезным орудием для обоняния?

Предположение помпейца было чересчур дико; хозяин с

состраданием усмехнулся.

– Нет, – отвечал он, – очки служат мне для лучшего зрения. Без них я не вижу и на расстоянии пяти шагов.

– Ах, бедный!

– Ты совершенно напрасно обо мне сожалеешь: я горжусь слабостью своего зрения!

– Я тебя не понимаю.

– А между тем нет ничего проще. Я испортил свои глаза научными занятиями. Стало быть, слабость зрения у меня прямое последствие и самое наглядное доказательство моего умственного развития.

– Гм... – промычал Марк-Июний, не совсем как будто убежденный. – После этого ты, пожалуй, станешь гордиться и своей лысиной, потому что и она произошла от тех же научных занятий?

– А еще бы! – подхватил профессор и самодовольно провел рукою по своему обнаженному, как ладонь, черепу. – Лысина для нашего брата, ученого, – первое украшение.

Марк-Июний прикусил губы, чтобы не фыркнуть.

– Так как человечество постоянно развивается, – возможно серьезно сказал он, – то можно надеяться, что со временем все – и мужчины, и женщины, и старцы, и дети, – будут щеголять лысинами?

– Несомненно. Раз настанет такой период, когда положительно ни у кого не останется волоска на голове. Это будет апогей, венец человеческого развития...

– И человеческой красоты! – расхохотался помпеец. – Из этого я могу, кажется, заключить, что и копь, разбитый на все четыре ноги, с исполосованной спиной от ударов бича, ценится у вас дороже молодого коня с здоровыми ногами, с здоровой шкурой?

Ученый наш замялся.

– То конь, а мы люди...

– Да в отношении порчи, чем же мы отличаемся от коня? Твоя умственная работа – та же езда, тот же бич, от которых тело твое приходит все в большую негодность. Чем же тут гордиться? А что до пользы очков, то не будь ты так развить, ты не испортил бы себе глаз; а не испортив глаз, ты не нуждался бы в очках. Стало быть, не будь вашей цивилизации, не было бы и надобности в очках.

«Ого-го, – сказал сам себе Скарамуцциа, – да с этим молодчиком надо говорить с оглядкой: того гляди, что подденет!»

И чтобы вдохновиться к новому возражению, он зажег себе сигару.

– А этот черный корешок – тоже «плод цивилизации»? – продолжал допытываться помпеец.

– Как же.

– И тебе доставляет некоторое удовольствие вдыхать его горький дым?

– Даже большое. Для меня эта горечь слаще меду.

– Я не поверил бы, если бы не видел своими глазами. Меня

от этого запаха просто мутит. Не такова ли, однако, и вся ваша цивилизация: кому от неё сладко, а кому тошно.

– Ты рассуждаешь, как слепой о цветах! – сердито проворчал профессор. – Никто тебя не неволит курить. Цивилизация дает всякому полную свободу – пользоваться всеми её плодами...

– И стеснять тем других?

– Но если сигара составляет для меня уже необходимую потребность? Если я без неё не могу работать, мыслить?

– А! так это уже прихоть, слабость. Пока я замечаю только, что цивилизация ваша создала новые потребности, без которых мы, древние, прекрасно обходились. Прямой пользы от неё я не вижу.

– Скоро увидишь, очень скоро увидишь! – перебил Скарамущиа. – Допустим, что сигары – прихоть. Допустим даже, что очки исправляют только тот изъян, что причиняет нашему зрению цивилизация, – хотя, впрочем, есть не мало и простолюдинов, которые слабы глазами и пользуются очками. Но очки – только простейшая форма современных оптических инструментов. Есть у нас такие стекла, сквозь которые мы ясно различаем самых мелких букашек, невидимых простым глазом; есть и такие, которыми мы приближаем к себе самые отдаленные небесные светила...

– Правда? Я не смею сомневаться в твоих словах. И если это, действительно, так...

– Погоди, погоди; не то еще узнаешь. Дай мне только на-

метить программу.

И, не теряя ни минуты, Скарамуцциа засел за свою программу.

Глава шестая

Наука и жизнь

Под утро программа была готова, а с утра началось её выполнение.

Марк-Июний настолько уже окреп, что, задрапированный в плед, как в древнеримскую тогу, мог сидеть в вольтеровском кресле. Так как накануне речь зашла об оптических инструментах, то Скарамуцциа решился начать свой курс с оптики. Наставив микроскоп по глазам ученика, он стал показывать ему из своей коллекции микроскопических препаратов наиболее занимательные. Помпеец только ахал от восхищения.

– Да это чудо что такое! Микроскоп – это единственное в своем роде изобретение.

– Далеко не единственное – с самодовольствием отвечал профессор.

И, подкатив пациента в кресле к открытому балкону, он подал ему бинокль. Марк-Июний не отнимал уже стекла от глаз.

Сейчас перед окнами раскинулся городской сад – «Villa Nazionale», за ним расстилался лазурный Неаполитанский залив.

Наведя туда трубку, помпеец, очень заинтересовался ды-

мившимися среди парусных судов и рыбацких лодок с пароходами; а направив инструмент на отдаленный Везувий, он еще более был озадачен проведенной на гору проволочной железной дорогой, по которой взползал только что поезд. Изумлению и вопросам его не было конца, и сведущий по всем частям наставник едва успевал удовлетворять его ненасытную любознательность. Поневоле пришлось лектору отступить от своей программы, потому что движение парохода и паровоза нельзя же было растолковать без предварительного объяснения действия пара. Но эти отступления доставляли Скарамуцции даже удовольствие. Как молодая мать с умилением любит первыми проблесками ума в своем детище, так умилялся он сметливостью своего «новорождённого» слушателя. Зараженный его молодым увлечением, он сам помолодел и увлекся.

С наступлением сумерек, когда на горизонте всплыла луна, профессор наставил на нее телескоп. То-то было опять восклицаний и вопросов! С луны разговор сам собою перешел на всю солнечную систему, на движение планет, на шарообразность земли; а там и на кругосветные путешествия, на открытие Америки Колумбом.

– От всех этих научных новостей у меня просто голова кругом идет! – признался Марк-Июний. – Для вас, новых людей, кажется, нет в мире ничего уже неизведанного?

– Да ты не узнал от меня еще и сотой доли всего, что знает у нас всякий школьник! – с торжествующим видом отве-

чал Скарамуцциа. — Теперь-то ты, надеюсь, начинаешь убеждаться, что цивилизация наша чего-нибудь да стоит?

— Я преклоняюсь перед нею! О чем-то мы будем говорить с тобою завтра?

— А вот увидим. Ты немного спутал мне мою программу. Надо еще сообразить...

— Ах! скорей бы, скорей бы только настало завтра!

Читатели едва ли посетуют на нас, если мы не выпишем здесь дословно весь ряд лекций, которые выслушал от Скарамуцциа его 1800-летний ученик. Скажем только, что в дружеской беседе, шутя, Марк-Июний ознакомился со всеми первостепенными изобретениями, составляющими гордость человеческого ума, как-то: с книгопечатанием, барометром, термометром, телеграфом, телефоном (благо, в кабинет профессора были тоже проведены телеграфная и телефонные проволоки), с фонографом, фотографией, электрическими тягой и освещением и проч., и проч., также с важнейшими историческими событиями, географическими открытиями и с главными началами современной механики, физики, химии и медицины. Когда же к ночи любознательный ученик, донельзя утомленный всею массою воспринятых им разнородных сведений, погружался в глубокий сон, наставник целые часы ещё просиживал над своим дневником, чтобы занести туда все сделанные за день драгоценные наблюдения. О! Эти наблюдения должны были дать ему материал к такому учёному труду, какого доселе свет не видал!

Но, точно между ним и его «объектом» установилась уже таинственная духовная связь, его инстинктивно все тянуло к помпейцу. Сидя над дневником, он не раз вдруг вскакивал и на цыпочках подходил к спящему, чтобы осветить лампою его лицо, заглядеться на него.

«Что значит молодость и отборная пища! Ведь был скелет скелетом; а вон теперь в неделю с небольшим совсем расцвел – кровь с молоком. Какая правильность, какое благородство во всех чертах лица! Разрядить его в живописный древнеримский плащ, так народ на улице останавливаться будет. Да что наружность! Сообразительностью он всякого также за пояс заткнет: так быстро ведь все схватывает, так метко возражает, что иной раз язык прикусишь... Ах, ты умница моя!»

В груди черствого ученого, закоренелого эгоиста вошло вдруг, зашевелилось совсем незнакомое ему дотоле теплое чувство – чувство дядьки к любимому питомцу, отца – к единственному сыну. Научный «объект» обратился для него в самого близкого и дорогого ему, живого человека.

«Ты будешь моей радостью, моей гордостью! – в приливе родительской нежности обещал сам себе Скарамуцциа. – Ты будешь моим преемником по науке – Марк-Июний Скарамуцциа!».

Помпеец, в свою очередь, – как с затаенным удовольствием замечал профессор, – питал к нему уже непритворное уважение. Тем не менее, внимание его не мало развлекалось

доносившимися в открытый балкон уличными звуками: шумом экипажей, звонками конки и велосипедов, трубным во-ем моторов, говором и смехом прохожих, также долетавшею из городского сада музыкой. Не раз он, среди самой серьезной лекции, срывался с кресла и подбегал к балкону. Скарамуцци должен был насильно оттаскивать его назад, и в конце концов вовсе уже не открывал балкон.

– Но ведь все эти новые способы передвижения – совершенная тоже новость для меня! – говорил ученик. – А и нынешние люди – новые...

– А ну их совсем, этих новых людей! – отвечал учитель. – Велосипед же я, так и быть, пожалуй, куплю для тебя; прокачусь с тобой как-нибудь на моторе. До времени же имей немного терпения: сперва теория, потом уж практика.

И Марк-Июний покорился. Однако, с ним произошла видимая перемена. Вначале такой отзывчивый, разговорчивый, шуточный, он стал теперь рассеян, молчалив и грустен.

– Что с тобою, сын мой? – решился наконец допытаться Скарамуцци. – Здоров ли ты?

– Совершенно. С чего ты взял?

– Да ты как-будто нос опустил. Недостает тебе чего? Скажи. Кажется, наш век представляет житейских удобств гораздо более, чем твой век.

– М-да... – как-то не совсем убежденно согласился Марк-Июний. – Для вас, нынешних людей, не существует уже ни пространства, ни времени: быстрее голубя перелетаете вы

моря и земли; выше орла возноситеесь вы к небесам; за тридцать земель вы можете в один миг переслать весточку вашим друзьям и даже переговаривать друг с другом; всякий предмет вы можете тотчас отпечатлеть на бумаге, всякий звук задержать на лету; в искусственные стекла, вы видите и мельчайшую тварь, о которой мы, древние, даже понятия не имели, и бесконечно-отдаленные надзвездные миры; не выходя из дому, вы безошибочно определяете погоду на дворе: тепло ли там или холодно, будет ли завтра дождь или солнце; наконец, что всего дороже, – познания мудрецов всех веков и народов сделались у вас общим достоянием, потому что могут быть приобретены за небольшие деньги в любой книжной лавке, тогда как мы, бедные, всякую книгу должны были собственноручно переписывать или покупать на вес золота...

– То-то же! – подхватил – Так ты, стало быть, не можешь, кажется, жаловаться на судьбу, что дожил до наших времён?

Марк-Июний подавил вздох.

– О чем же ты вздыхаешь?

– Ты не рассердишься на меня, дорогой учитель?

– Говори, не стесняйся.

– Вот, видишь ли. Если бы человеческое счастье заключалось единственно в том, чтобы пользоваться «плодами» вашей цивилизации, – то я, разумеется, почитал бы себя счастливейшим из смертных. Но, кроме материальной пищи – житейских удобств, кроме духовной пищи – наук, живому че-

ловеку нужна и пища душевная – самая жизнь, живые люди. А их-то я, можно сказать, до сих пор не видел.

– А я, а Антонио мой, значит, по-твоему не люди?

– Ты – не столько человек, как столп науки; Антонио же – раб, не человек. Нет, покажи мне настоящих людей...

– Эх, молодость, молодость! Что тебе в других людях? Повторяю, тебе: не стоят они внимания...

– Как не стоят? Они и родились-то, и выросли все в вашем идеальном, цивилизованном веке. Стало быть, по твоим же словам, все они довольны своей судьбой, все поголовно счастливы. Это должна быть такая Аркадия...

Скарамуцциа насупился и нетерпеливо перебил говорящего:

– Да, Аркадия, нечего сказать! Все, как волки, рады сожрать друг друга.

– За что? Почему?

– Потому что современный человек – самая ненасытная тварь. Чем более у него есть, тем более ему надо. Цивилизация его избаловала. Прибавь к этому человеческую дурь...

– Дурь? Но теперь, я думал, все так умны...

– Да, уж можно сказать! Наука неуклонно идет вперед, а человечество ни с места: по-прежнему на одного умника 99 дурней.

– Не слишком ли ты уже взыскателен, учитель? Ты измеришь всех по своей мерке. Не всем же быть учеными, как ты! Как бы то ни было, еще раз прошу тебя: покажи мне их!

Ты спрашивал меня: что со мною? здоров ли я? – Да, я здоров, но задыхаюсь. Воздуху, воздуху дай мне! Пусти меня на волю!

«А что, в самом деле? – сказал себе Скарамуцци. – Герметически закупорить его от людей я не могу, да и не смею. Баланцони прав! А что он столкнется с другими, – не беда: чем скорее познает он пошлость людскую, тем скорее вернется к науке».

– Изволь, друг мой, – промолвил он вслух: – с теории перейдем на практику: я буду твоим ментором и повезу тебя по разным фабрикам и заводам. Дело только за платьем. Я предложил бы тебе один из моих европейских костюмов; но ты, вероятно, не захочешь явиться всенародно таким «скоморохом»?

– Ай, нет! избавь, пожалуйста.

– Так потерпи, пока портной сошьет тебе тунику и тогу.

– Не знаю, право, учитель, когда я рассчитаюсь с тобой: ты столько расходуешься на меня...

– Рассчитываться нам нечего: ты самим собою уже оплачиваешь мне все мои невеликие издержки.

Марк-Июний крепко пожал руку щедрого хозяина. – Нет, я не останусь у тебя в долгу.

Глава седьмая

Жизнь

Древний римский наряд, после тщательной примерки, был, наконец, готов. Живописный пурпуровый плащ, закинутый театрально через плечо, оказался удивительно к лицу молодому красавцу. Но на подбородке у него за это время успела вырасти темная щетина, а волосы на голове топорщились, и прежде чем показаться публике, Марк-Июний отдал себя в руки приглашённого в дом опытного парикмахера.

Усадив молодого человека перед зеркалом и накинув ему на плечи пудермантель, парикмахер засуетился вокруг него.

Помпеец не без подозрительности следил за движениями парикмахера, который стал взбивать кисточкою в мыльнице мыло. Древним римлянам наше пенистое мыло не было еще известно, и лицо, для облегчения бритья, они смазывали себе смоляным маслом (*dropax*). Но на нет и суда нет. Когда Марку-Июнию намылили щеки и подбородок, – он поморщился, но смолчал. Благополучно совершив над ним операцию брата, парикмахер подстриг ему волосы, прижег их в колечки, на помадил; потом ловко сорвал с него пудермантель и выразительным жестом показал, что все в исправности.

– И только-то? – спросил удивленный помпеец, обраща-

ваясь к профессору.

– Чего же тебе еще? – отозвался тот не менее удивленно.

– Как чего? А подровнять кожу пемзой, подвести брови, закруглить и окрасить ногти...

– Ну, уж не взыщи: у нас этого не полагается.

Марк-Июний пожал плечами: цивилизация, видно, не во всем пошла вперед, а кое в чем и поотстала.

– Так вели ему, по крайней мере, пустить мне кровь, – сказал он.

– Бог с тобой! Крови в тебе и так-то слишком мало.

– Но в мое время кровопускание считалось одним из лучших кровоочистительных средств...

– Современная медицина изверилась в этом средстве, от которого больше вреда, чем пользы.

Помпеец не возражал, но, видимо, не совсем убедился в непогрешимости новейшей медицины.

Ну, что ж, идем, – сказал он, драпируясь в свой плащ. – А утро-то какое!

Утро, в самом деле, было восхитительное апрельское. Еще спускаясь с лестницы, Марк-Июний с упоением вдыхал в себя свежее дуновение ветра с залива. Но не успели они еще выбраться на улицу, как на нижней площадке заступил им дорогу репортер «Трибуны» Баланцони.

– *Lupus in fabula*¹³! Наконец-то я поймал вас с личным, *signore direttore*! И хоть бы цидулочкой, по обещанию, пре-

¹³ Что волк в басне.

дупредили!

Скарамуцциа, озадаченный и смущенный, стал оправдываться тем, что наблюдения его не окончены и не подлежат еще огласке.

– Пустяки, пустяки! – перебил его Баланцони. – Раз вы с ним появляетесь на улице, он делается уже общим достоянием.

– Да кто выдал вам вообще, *signore dottore*, что мы – сегодня как раз выходим из дому? Ужели мой Антонио...

– Нет, ваш Антонио, к сожалению, неподкупен и нем, как рыба.

– Так от кого же вы узнали?

– А портной ваш, а парикмахер на что? Вы куда это собираетесь?

– В аквариум.

– Великолепно! И я туда же с вами. *Tres faciunt collegium*¹⁴. Я буду служить вам громоотводом от всех моих коллег. А теперь позвольте мне познакомиться с вашим молодым другом.

И, немилосердно, но бойко коверкая латинскую речь, Баланцони отрекомендовался помпейцу, как известный писатель; затем попросил позволения сопутствовать им обоим на их прогулке.

– Очень рад, – с холодной вежливостью отвечал Марк-Июний.

¹⁴ Трое составляюь коллегию.

От наблюдательного глаза репортера не ускользнуло, что его собственная щеголевато небрежная внешность как-будто не внушает помпейцу особенного доверия.

– Не суди обо мне по внешности, – сказал он. – Диоген жил тоже в бочке и одевался в рубище. Но что же мы даром теряем время? Вперед!

Перейдя улицу, они вошли в городской сад и завернули в главную аллею. Необычный наряд помпейца не мог, конечно, не привлекать взоров гуляющей публики. С своей стороны и Марк-Июний с не меньшим любопытством оглядывал вблизи новых ему людей. Когда же он проходил мимо музыкального павильона, то вдруг остановился, как вкопанный: и струнный оркестр, и стоявший на эстраде, спиной к слушателям. Капельмейстер во фраке с раздувающимися от ветра фалдами и в такт размахивающий своей дирижерской палочкой, – все поражало его своей новизной. Баланцони принялся было объяснять ему употребление отдельных инструментов, но Скарамуцциа подхватил своего ученика под руку и увлек к аквариуму.

При входе туда профессор счел нужным сделать небольшое введение о великом значении, какое имеет для науки неаполитанская зоологическая станция, первая в целом свете по разнообразию и красоте образцовых экземпляров морских животных.

Действительно, переходя от одного стеклянного резервуара к другому, Марк-Июний не мог налюбоваться на пла-

вающий, копошащийся там меж камней и растений живой подводный мир – всевозможных гадов, рыб, раков, моллюсков самых причудливых форм. Более всего его заинтересовали крабы: как только сторож, по требованию Скарамуцции, бросил к ним сверху пригоршню мелкой рыбы, крабы все разом с волчьей жадностью накинулись на лакомый корм и норовили вырвать его изо рта друг у друга. Ловчее, юрче других была самая мелкая порода этих морских хищников: схватив рыбку, они спешили незамеченно бочком-бочком прошмыгнуть за какой-нибудь утесик. Большие же заботились не только о себе самих, но и о своих паразитах – присосавшихся к их скорлупе слизняках в раковинах и, сами насытись, терпеливо давали им также насытиться. Особенно забавен был большущий, на диво неуклюжий краб: в прожорливости своей он проглотил, видно, слишком крупный кусище, и тот застрял у него в горле, и вот, чтобы пропихнуть его куда следует, краб залез к себе в пасть клешней, да так неловко, что задел при этом свой собственный глаз и чуть-чуть не вывернул его себе из головы.

Из рыб всех красивее, пожалуй, были желтовато-зелёные, пятнистые мурены. Но Марк-Июний поспешил пройти далее.

– Постой! куда же ты? – сказал профессор.

– Я не могу их видеть... – отвечал помпеец. – У нас их кормили человеческим мясом...

– Да ведь только мясом пленных и рабов? – заметил ре-

портер. – А устриц ты тоже не жалуешь?

– Нет, устрицы я кушаю с большим удовольствием.

– Так я могу угостить тебя сейчас такими, что пальчики себе оближешь! На всякий случай я велел отложить для нас шесть дюжин, по две на каждого. Идем.

И, подхватив Марка-Июния под руку, Баланцони пошел с ним к выходу. Скарамуцци ничего не оставалось, как последовать за обоими.

Из городского сада они свернули к заливу и берегом вскоре выбрались на набережную Санта-Лючия. Здесь были частью разложены на прилавках, частью навалены целыми грудами просто наземь «морские фрукты» – *frutti di mare*, т. е. такие же подводные обитатели Неаполитанского залива, каких они только-что видели в аквариуме.

– А вот и мой поставщик, – сказал Баланцони, хлопая приятельски по плечу довольно неопрятного на вид-старика-торговца. – Ну-ка, старичина, покажи, что ты для нас припас.

Торговец взял со стола кривой ножик, обтер его о свой грязный фартук и разрезал пополам пару лимонов, после чего принялся вскрывать одну за другой раковины и выковыривать оттуда устриц, – что делал (надо отдать ему справедливость) очень умело.

– Что же ты? Прошу! – пригласил Баланцони Марка-Июния, а сам, выжав кусок лимона над одной устрицей, с наслаждением препроводил ее в рот.

Нечистоплотность торговца отбила, казалось, у помпейца аппетит. Не желая, однако, обидеть своего нового знакомого-писателя, он проглотил одну устрицу, потом не спеша еще одну, и обтер себе губы.

– Только-то? – удивился Баланцони, который справился уже с целой дюжиной. – Сделай милость, не стесняйся.

– Благодарствую, – отказался Марк-Июний. – Боюсь испортить себе аппетит к обеду.

– А что, ведь, *signore direttore*, в самом деле, зададим-ка ему лукулловский обед в лучшем вашем ресторане Стараче в галерее Умберто. А? Пускай-ка сравнить с древними пиршествами.

– Пожалуй... – проворчал с полным ртом Скарамуцциа, исправно уплетавший также свою долю устриц. – Вы поезжайте сейчас заказывать обед, а мы отправимся своим путем.

– Это куда?

– Так, по своим делам, а может быть и на обойную фабрику.

– Oibo!¹⁵ Не нашли ничего интереснее?

– У нас с ним задумано целое научное странствие; начинаем же мы с обойной фабрики потому, что устройство её особенно наглядно. Да ты на что это так загляделся, мой друг? – обратился профессор к своему ученику, который между тем неотступно смотрел в сторону ряда многоэтажных, но чрезвычайно узких, в одно, в два-три окна, домов Санта-Лючии,

¹⁵ Вот на!

разделенных друг от друга только тесными проулками.

– Какая теснота, какая запущенность! – проговорил Марк-Июний. – Жить там, должно быть, крайне нездорово.

– Да, это один из самых старых наших кварталов. Но эта передняя группа домов намечена уже к сломке...

– ...Чтобы иностранцам, подъезжающим с моря, безобразием своим не слишком бросалась в глаза, – пояснил Баланцони. – Но с художнической точки зрения все это даже очень недурно: это белье, развешанное через проулки с балкона на балкон до самой крыши, – те же праздничные флаги.

– М-да... – протянул помпеец. – Для меня это во всяком случае очень назидательно: простой народ, как видно, до сих пор живет так же бедно, как тысячи лет назад.

– А может быть и еще беднее, – подтвердил репортер. – Не хочешь ли убедиться поближе? Тут можно пройти насквозь в самый центр города.

Скарамуцциа попытался было воспротивиться, но безуспешно. Проникнув в один из полутемных проулков, они должны были на каждом шагу глядеть себе под ноги, чтобы не поскользнуться, потому что по всему их пути бабы с засученными рукавами и подоткнутыми юбками стирали белье, орошая кругом мостовую целыми потоками грязной мыльной воды. Это была, так сказать, общественная прачечная под открытым небом, где внизу стирали, а наверху сушили белье на солнце.

Марк-Июний, промочив и запачкав себе свои новые сан-

далии, был очень доволен, когда – выбрался, наконец, в более сухую местность. Здесь было и более разнообразия в народной жизни. Мелкие ремесленники занимались своим делом по большей части на улице перед входом в свои темные логовища. На порогах домов, а то и на вынесенных на тротуар стульях сидели женщины с рукодельем, болтая с соседками. Тут молодая девушка, не стесняясь прохожих, заплетала свои пышные косы и, кокетливо сверкая своими черными глазами, перебрасывалась шутками с остановившимся перед нею молодым парнем. Там почтенная матрона усердно искала чего-то в голове своего полунагого ребенка.

– Ну, что? Каков теперешний народ наш, а?

– Народ как будто все тот же милый, добродушный, беспечный, – отозвался помпеец, – Но эта беднота, эта грязь!..

– Грязь – родная сестра бедноты. *Naturalia non sunt turpia*¹⁶. А вот и наш народный рынок.

– Великие боги!

То, что представилось здесь глазам Марка-Июния, действительно, могло озадачить, ошеломить свежего человека. Вся площадь кругом кишела самым серым людом, одетым крайне бедно, неряшливо, а то и просто в лохмотья.

В воздухе стоял неумолкающий гомон от тысячей голосов. Всякий старался перекричать других, потому что на всем пространстве площади шла самая оживленная продажа и меновая торговля; предметами же торга были всевозможное

¹⁶ Естественное не постыдно.

старье, разные овощи и плоды, рыба и мясо последнего сорта.

Вон разносчик-помидорщик продовольствовал заразно несколько человек: на куски белого хлеба он накладывал им красные ломтики помидоров, которые сверху обливал затем янтарного цвета оливковым маслом. И ведь как смачно те закусывали! Масло так и капало с пальцев на землю.

Рядом табачник не менее успешно торговал сигарными окурками, которые тут же закуривались, распространяя едкий, нимало не благоуханный дым.

– Откуда у него эта куча окурков? – удивился помпеец.

– А есть у него на послугах мальчишки, которые по ночам с фонарем подбирают окурки в канавках, – отвечал Баланцони. – О, у нынешних итальянцев ничего не пропадает!

Пробираясь далее, они наткнулись на уличного ресторатора. На жаровне у него пеклись каштаны; рядом кипели два больших котла. В одном варилась кукуруза, а из другого ресторатор исполинской ложкой выуживал длиннейшие тесьмы тягучего горячего теста. Марк-Июний остановился, чтобы узнать, как-то потребители справляются с такой штукой. А справлялись те прекрасно: схватив тесьму большим и указательным пальцами, они втягивали ее в себя не торопясь, с видимым наслаждением, после чего еще облизывались и причмокивали.

– Это – макароны, наше первое национальное блюдо, – объяснил Баланцони.

– Прикажете? – любезно обратился к ним ресторатор, размахивая своей ложкой, как магическим жезлом. – *Punto cerimonie, Vossignoria*¹⁷!

– Нет, не нужно, – коротко отказался за всех Скарамуцциа. – Ну, Марк-Июний, теперь, нам пора... А с вами, *signore Balanzoni*, мы встретимся в галерее Умберто, – так, часа через два. Эй, веттура¹⁸!

Едва веттура вывезла их с рыночной площади в ближайшую улицу, как из-за угла на них налетела гурьба уличных ребятишек и запрыгала около экипажа с протянутыми руками и притворно-жалобным криком:

– *Signori, un soldo! Una piccola moneta!*¹⁹

– Пошли вы, пошли! – незлобиво отгонял их веттурино²⁰, пощелкивая для виду своим длинным бичом.

– Брось им что-нибудь, учитель! – попросил помпеец.

– Это родители приучают их сызмала попрошайничать, – сухо отозвался профессор. – Потакать им грех.

В это время один шустрый мальчугашка, чтобы обратить на себя более внимания, перекинулся несколько раз колесом, а потом опять протянул ладонь.

– *Una piccola, piccola moneta!*

– Ну, дай хоть этому-то! – попросил опять помпеец. – Ка-

¹⁷ Не церемоньтесь, ваша милость.

¹⁸ Коляска.

¹⁹ Синьоры, грошик! Одну маленькую монетку!

²⁰ Извозчик.

кой ведь искусник!

Профессор нехотя бросил искуснику медную монету. Тот поймал ее налету и затащил звонко на оперный мотив:

– Grazie, signore! grazie, signore!

И вся орава, смеясь, подхватила ему под тон:

– Grazie, signore!

– Вишь, какие славные, веселые! – умилился Марк-Июний. – Но что-потом-то из них, бедных, выйдет!

– Выйдут такие же ленивцы и тунеядцы, как их родители, – проворчал Скарамуцциа. – Народ наш вконец опустился. Тебе все хотелось жизни. Но разве это жизнь? В настоящее время жизнью у человека может называться только служение науке. Большинство служит ей, правда, только механически: двигателями являемся мы, избранники науки. Сейчас вот ты увидишь такую одухотворенную наукою жизнь людей низшего разбора.

Они въехали в фабричный квартал. Еще улица, другая, – и веттура остановилась перед мрачным кирпичным зданием обойной фабрики.

При самом входе на фабрику, их охватило тяжелым запахом клея, красок и жилья. Содержалась фабрика довольно неопрятно; а самые условия производства еще более отравляли в ней воздух, и все рабочие: мужчины, женщины и дети, имели изнурённый, больной вид. Следуя за своим ментором из отделения в отделение, Марк-Июний рассеянно прислушивался к его объяснениям: поголовная болезнен-

ность этих «механических служителей науки» производила на него удручающее впечатление.

– Я не могу спокойно видеть этих – несчастных! – заметил он. – А эти подростки – краше в гроб кладут! Доживут ли они еще до взрослого возраста?

– Сомнительно, – отвечал Скарамуцци. – Но что же, любезный, делать? Без жертв не обходится никакой успех цивилизации.

– Да в чем тут цивилизация? В пестрой бумаге, которую вы оклеиваете ваши комнаты? Неужели, по-твоему, это тоже – служение науке, настоящая жизнь? Это – жертвоприношение, но не богам, а вашей же людской прихоти. Помочь этим беднякам я один, разумеется, не в силах. Но, глядя на них, сердце кровью обливается. Уйдем, пожалуйста!

– Да я не все еще показал тебе...

– Уйдем, сделай такую милость!

– Ты, сын мой, может быть, проголодался?

– Да, да! Тот писака верно ждет уже нас.

Глава восьмая

Последние слова цивилизации

Репортер, действительно, уже поджидал их при самом входе в галерею Умберто.

– Наконец-то! – воскликнул он. – А эти господа уже напали на наш след!

– Ваши коллеги? – спросил Скарамуцциа.

– Да. Они сидят уже в ресторане.

– Так не убраться ли нам сейчас в какой-нибудь другой ресторан?

– Ни к чему не послужит: вон, видите, один соглядатаем издали наблюдает за нами. И я буду держать их в почтительном отдалении.

Они вошли в ресторан.

– Garzone²¹! – повелительно крикнул Баланцони.

Расторопный гарсоне отодвинул для каждого из них стул около небольшого углового стола, уставленного уже целой батареей вин и серебряным холодильником с тремя бутылками шампанского, а затем упорхнул за кушаньем.

В ожидании Баланцони навел разговор на великое значение печати.

– А сам ты, скажи, в каком роде пишешь? – спросил Марк-

²¹ Человек.

Июний. – В идиллическом или сатирическом?

– Как тебе сказать?.. – замялся репортер. – Скорее в сатирическом: я описываю жизнь изо дня в день, как она есть. Я, так сказать, – муравей печати.

– Прости, но я тебя не совсем понимаю.

– Современная печать, видишь ли, или попросту газеты (потому что газеты поглотили теперь весь интерес общества) – это муравейник, где каждый из нас, муравьев, собирает для своих ближних соломинки и зернышки – мельчайшие новости дня со всего света и этими новостями связывает, можно сказать, все человечество в одну родственную семью.

Говорилось все это с пафосом, чтобы сразу внушить помпейцу должное уважение к «муравьям печати»; но расчёт пока не оправдался.

– В чем же могут заключаться ваши мировые новости? – сдержанно спросил его наивный слушатель.

– Прежде всего, разумеется, в международных вопросах, вопросах войны и мира.

– Так войны бывают еще и до сих пор, несмотря на всю вашу цивилизацию?

– Чаше и истребительнее, чем когда-либо прежде. Не проходит месяца, чтобы не изобрели нового снаряда, нового средства к истреблению людей массами. А мы, застрельщики цивилизации, – продолжал он, с самосознанием указывая на висевший у него на часовой цепочке карандаш-пистолет-

тик, – мы вот этим мелким, но метким оружием разносим славу изобретателей по всему свету.

– Славу людей, которые способствуют истреблению себе подобных? – сказал Марк-Июний. – Личное мужество, значит, потеряло у вас уже всякую цену? Храброму человеку нельзя уже пожертвовать собою для отечества? И ежедневное воспевание этого-то варварского способа расчёта с врагами вы считаете чуть ли не подвигом?

Баланцони поморщился.

– Войны в принципе я сам не одобряю, – сказал он, – но если люди раз воюют, так как же об этом молчать? Впрочем, и кроме войны, мало ли у нас еще других, мирных сюжетов.

– И столь же благородных, – с иронией подхватил тут Скарамущиа: – как-то: убийства, поджоги, мошенничества...

– А что же прикажете делать бедному человеку? Чем цивилизованнее народ, тем у него более потребностей, тем более ему нужно на удовлетворение их средств. Борьба за существование! Но мы застрельщики, следим неусыпно, чтобы никто чересчур уже не забывался.

– Бедное человечество! – сказал Марк-Июний, которому вспомнились при этом бледные, исхудалые лица бедняков. – Люди, как я вижу, благодаря вашей цивилизации, сделались только кровожаднее, преступнее и несчастнее... Вон хоть этот молодой человек, – продолжал он пониженным голосом, кивая на сидевшего неподалеку бледного, худощавого юношу, не сводившего лихорадочного взора с их стола. – Как он

жадно сюда смотрит, точно голодал целые сутки.

Баланцони рассмеялся.

– Слышали, Меццолино? – отнесся он к бледному юноше. – У вас такой вид, точно вас не кормили целые сутки.

Но юноша, казалось, только и выжидал случая, чтобы завязать разговор с обедающими. Он подошел к ним с развязным поклоном и обратился прямо к Скарамуцци:

– Очень счастлив, что могу лично представиться вам, *signore direttore*. На днях я имел честь оставить у вас мою карточку: репортер «Утра», Меццолино.

Не договорил он, как из-за других столов одновременно вскочили еще три личности и двинулись также к Скарамуцци.

– Позвольте и мне отрекомендоваться, – заговорили все трое разом: – репортер здешнего «Курьера», Бартолино; репортер «Жала», Педролино; репортер «Родины», Труффальдино.

Нападение их было предусмотрено опаснейшим соперником их, репортером римской «Трибуны». Решительным движением руки Баланцони остановил их дальнейшее наступление.

– Я уполномочен, господа, объявить вам, что ни один из нас тут за этим столом не расположен нынче к обществу, что мы, как замкнутое общество, существуем только друг для друга.

– Но не сами ли вы, синьор Баланцони, такой же репор-

тер... – начал Меццолино.

– Репортер – да, но не такой же, извините! Римская «Трибуна» читается всей Италией... Наши объяснения, я полагаю, кончены!..

Взоры четырех подошедших репортеров, как бы ища поддержки, обратились к Скарамуцции. Но тот, делая вид, что не слышит их спора, занялся черепашью супом, который между тем подал гарсоне. Бормоча что-то под нос, репортеры должны были обратиться вспять.

Подошедшая в это время к обедающим молодая цветочница с обворожительной улыбкой подала каждому из них по букету фиалок.

Баланцони первый продел свой букетик в петлицу.

– Не правда ли, – похвальный обычай у нас – украшаться цветами? – заметил он помпейцу.

– Не переняли ли вы его от нас, древних? – отозвался Марк-Июний. – Мы украшались за обедом даже целыми венками. Самый обед от этого как-то вкуснее.

– Ничуть! – проворчал Скарамуцция. – Не все ли одно: как и что есть? Было бы сытно.

– Нет, изящество, красота придает всему большую цену, – возразил помпеец: – в мое время, по крайней мере, еда была одним из эстетических удовольствий жизни. Мы приступали к обеду чинно, как к некоему таинству: освежались предварительно ванною, натирались благовонными эссенциями, увенчивались цветами. Обедали мы тоже не сидя, как вы, на

стульях, чтобы скорее только перекусить и бежать опять без оглядки по своим домам. Нет, мы возлежали на подушках мягко и удобно. А как подавалось нам каждое блюдо! Жареные павлины и фазаны во всей роскоши своих перьев пирамидами возвышались перед нами. Рабы наперерыв подливали нам сладких вин. Арфы и лиры улаждали наш слух. Индийские танцовщицы пленяли наш взор. Шуты и скоморохи потешали наше сердце. Кровь в жилах кружилась все быстрее; на душе становилось все светлее. И только к ночи, при свете факелов, расходились мы, тяжело опираясь на своих рабов...

– Punctum! Sapienti sat!²² – прервал Баланцони, делая ремарку на своей манжетке. – В эстетике еды мы, точно, от вас поотстали: на все это надо большие деньги, а их-то теперь ни у кого нет. Но готовить кушанья у нас тоже таки умеют. Что же ты не ешь, любезнейший? не нравится, что ли? Это одно из самых тонких наших яств – майонез из дичи.

Марк-Июний, с видимой предубежденностью отведав незнакомого яства, отодвинул от себя тарелку.

– С меня довольно, – отговорился он.

– Так запей, по крайней мере. Вино-то наше хоть не хуже вашего.

И с этими словами репортер налил ему полный стакан вина, после чего спросил, как ему понравилось на обойной фабрике. Узнав же о тяжелом впечатлении, вынесенном от-

²² Точка! Для разумного довольно!

туда помпейцем, он ему с горячностью поддакнул:

– Ну, да! совершенно то же, что я уже сто раз твердил. Людьми жертвовать для нищенского украшения домов! То ли дело ваша древняя стенная живопись...

– Которая стоила во сто раз дороже обоев и была едва ли красивее! – возразил Скарамуцци.

– Извини, учитель, – вступился Марк-Июний. – Обои – ремесленный продукт, тогда как картина – продукт художественного вдохновения, чистого искусства.

– А и для рисунка обоев, друг мой, требуется известная доля вдохновения и искусства.

– Но узор на них постоянно повторяется...

– Да, но в этом-то и главное их достоинство: повторяющейся гармонией линий и красок они приятны глазу, но без надобности не развлекают внимания. Ну, хочешь видеть раз отдельную картину, так вот на, любуйся!

Он указал на висевшую на стене эффектную олеографию в золотой рамке.

– А в самом деле, какая замечательная живопись! – сказал Марк-Июний. – Вот, подлинно, предмет чистого искусства!

– Не правда, ли? А знаешь ли, что в сущности это – такой же ремесленный продукт, как и обои, простая только копия.

И ученый наш тут же объяснил способ печатания олеографий.

– Но копия эта, – заключил он, – стоит даже выше своего оригинала, ибо во 100 раз его дешевле и доступна самым

недостаточным людям. Это одно из последних слов цивилизации.

– Вы умалчиваете, однако, о главном, – вмешался Баланцони, – что на олеографию можно смотреть только издали: вблизи сейчас разглядишь, что это ремесленный продукт, слабое подражание. Кроме того, олеографии крайне непрочны, потому что отпечатаны на простой бумаге, да и скоро линяют от света, тогда как настоящие масляные картины, писанные на полотне, переживают века, и подлинными картинами какого-нибудь Рафаэля, Тициана, Леонардо-да-Винчи мы восхищаемся точно так же, как восхищались ими наши, деды, как будут восхищаться ими наши внуки.

– Так и теперь, значит, есть еще ценители чистого искусства? – встрепенувшись, спросил Марк-Июний. – Где же можно видеть такие подлинный картины?

– В картинных галереях.

– Вот если-бы мне также побывать в такой галерее!

– А что же, завтра же, если желаешь, съездим с тобой в нашу национальную галерею.

Скарамуцциа собирался протестовать, как вдруг из глубины ресторана послышалось пение. Пел всего один женский голос, но это было чудное сопрано, выделявавшее с необычайной легкостью удивительные фиоритуры.

Помпеец побледнел как полотно, схватился рукою за сердце, да так и замер на стуле.

– Что с тобой, мой сын? – заботливо спросил его профес-

сор.

– Молчи, молчи... – прошептал Марк-Июний. – Это совсем её голос...

– Чей?

– Да покойной Лютении...

Баланцони рассмеялся.

– Так ты и не подозреваешь, что это такое? Это просто граммофон.

– Не мешайтесь, пожалуйста, не в ваше дело! – строго заметил профессор и обратился снова к своему ученику. – Граммофон – также из последних слов цивилизации. Я как-то объяснял уже тебе его конструкцию. Вон, видишь, – огромная металлическая труба: звуки исходят прямо оттуда.

Марк-Июний облегченно перевел дух.

– А я было уже думал... – проговорил он. – Но чей же голос уловили в этот аппарат?

– Ну, этого, не взыщи, сказать тебе я не умею. В музыке я профан. Синьор Баланцони! как зовут ту синьору, что поет нам из граммофона?

– Ужели вы не узнаете нашу диву Тетрацини? – воскликнул репортер. – Да после Патти это первое в Европе колоратурное сопрано. В граммофоне, правда, выходит не совсем то: слышится что-то чужое, металлическое. Но завтра, Марк-Июний, ты можешь услышать ее самое: она поет в театре Сан-Карло, притом в лучшей опере Россини «Вильгельме Телле».

Скарамуцциа начал было доказывать, что граммофон даже предпочтительнее театрального представления, потому что механически воспроизводит то, на что без толку тратятся силы сотни людей и бешеные деньги. Но разгоряченный уже вином ученик не хотел его слышать.

– Не нужно мне вашей механики! дайте мне чистого искусства! – говорил он, и сам уже налил себе полный стакан.

– Не пей столько, сын мой, – остановил его профессор – ты ничего ведь почти не ел.

– Да, не пей этой дряни, – подтвердил Баланцони: – я угощу тебя сейчас таким нектаром, которого ты еще в жизни не пивал.

И в бокалах запенился игристый напиток Шампаньи. Баланцони чокнулся с Марком-Июнием.

– Да здравствует искусство!

Тот с энтузиазмом поддержал тост и одним духом осушил бокал.

– И то ведь нектар, клянусь Гебой! – вскричал он и с такой силой хватил кулаком по столу, что стаканы и бокалы запрыгали и зазвенели:

– «Nunc est bibendum! nunc pede libero Pulsanda tellus»...²³

Помпеец, очевидно, совсем захмелел. Давно уже сделался он центром всеобщего внимания обедавших в ресторане. Когда же он затянул свою застольную песню, кто-то крикнул:

²³ Начало Горациевой оды «К друзьям», переведенное Фетом так: «Теперь давайте пить и вольною пятою – о землю ударять»...

– Bravo!

Несколько голосов со смехом тотчас подхватило этот крик:

– Bravo! брависсимо! Дасаро!

Скарамуццию покорило; он тронул ученика за руку.

– Потихе, милый мой! Ты забываешь, что мы в общественном месте.

– Ах, оставь меня! – сказал Марк-Июний, вырывая руку, и круто обернулся к Баланцони: – Ты что это делаешь?

Тот усердно строчил что-то карандашом пистолетом на своей манжетке.

– А записываю твою песенку.

– Это зачем?

– Затем, чтобы она не пропала для моих соотечественников.

– Завтра вся Италия будет знать каждое твое слово, – с горечью пояснил Скарамуцци.

Помпеец вскочил из-за стола.

– Ну, нет, этого я не желаю! Уйдем отсюда, учитель...

– Ты, пожалуйста, не принимай так близко к сердцу, – сказал Баланцони: – как передовой застрельщик печати, я, согласись, не могу не поделиться с другими такою прелестью...

Марк-Июний, не слушая, схватил профессора за руку и увлек его вон из ресторана на галерею. Репортер, пожав плечами, поплелся вслед за обоими, но тут его нагнал ресторанный гарсоне.

– А деньги-то, с кого прикажете получить?

– С кого же, как не с синьора Скарамуцции? – отвечал Баланцони. – Он угощал нас. Счет можете послать ему на дом.

Марк-Июний тем временем выбрался из галереи и остановился на минутку на верхней ступени, чтобы вдохнуть в себя свежую струю воздуха полной грудью. Вдруг с противоположной стороны улицы на него наводят фотографический аппарат!

– Да что это, не меня ли уже снимают? – вскричал он.

– Готово! Вот это по-нашему! – услышал он за собой веселый голос Баланцони. – Как ласточку, ведь, налету подстрелили! Тоже застрельщик, только другого оружия.

Подкативший тут веттурино спас помпейца с его наставником от дальнейших покушений «застрельщиков».

Глава девятая

Триумфатор

Прибыв домой, Марк-Июний, по совету своего хозяина, прилег, чтобы отдохнуть от массы разнообразных впечатлений первого дня среди «новых» людей, да так и проспал до следующего утра. Не смотря на продолжительный сон, он встал с тяжелой головой и довольно бледный, так что Скарамуцциа решил продержать его этот день дома. Но он не принял в расчёт неодолимого «застрельщика», репортера «Трибуны». Напрасно Антонио, заслонив собою дверь, уверял последнего, что господа никого не принимают.

– За исключением меня, потому что я свой человек, – самоуверенно сказал Баланцони и, оттолкнув в сторону камердинера, влетел прямо в кабинет хозяина.

– Доброго утра, господа! Я боялся, что, пожалуй, уже не застану вас. Читали вы нынешние газеты? Нет? И на улицу еще не выходили? Так у меня для вас две самые свежие новинки. Вот первая – моментальный снимок.

Он подал помпейцу фотографическую карточку кабинетного формата. Бледные щеки молодого человека покрылись густым румянцем: он увидел, в точной копии, самого себя, поддерживаемого под руку профессором, а позади их обоих – смеющегося репортера.

– И эту картинку может теперь купить на улице всякий? – спросил он.

– Всякий, кому не жаль пяти лир. Аферист тоже этот фотограф: знал, ведь, назначить цену! Завтра, понятно, сбавит.

– Но этак все на меня пальцем показывать будут...

– Ты – герой дня; так как же иначе? А печать завершила твоё торжество. Вот вторая моя новинка; слушай.

Он достал из кармана пачку газет, развернул одну газету и стал переводить по-латыни.

– Да тут и на половину нет правды! – возмутился Марк-Июний.

– Речь без красного словца – что еда без перца. Погоди, что будет еще в «Трибуне!» Сегодняшний номер мы получим из Рима, к сожалению, только завтра.

– А вы сообщили туда по телеграфу? – спросил профессор.

– Как же иначе? Целый фельетон.

– Но теперь мне стыдно будет на улицу показаться... – пробормотал помпеец.

– Стыдно? – удивился репортер. – Какой же ты после этого герой? Напротив, теперь-то тебе и глядеть орлом; вот я, дескать, какой. И я нарочно заехал за тобой так рано; ведь до обеда нам нужно осмотреть еще весь национальный музей.

– А что ж, мой друг, предметы искусства тебя и то, пожалуй, рассеют, – заметил профессор.

И вот, они втроем катят уже в коляске, по направлению к

национальному музею, улицей Толедо, этой главной артерией городского движения.

Непривычного человека и в иное время могло оглушить этим грохотом экипажей (в Неаполе не знают резиновых шин), хлопаньем бичей, звонками трамвая и велосипедистов, мычаньем моторов, возгласами разносчиков. Сегодня же весь этот хаос уличных звуков старались еще из всех сил перекрычать газетчики, на всех углах и перекрестках махавшие своими газетами:

– Сюда, синьоры! небывалый номер: о воскресшем помпейце!

Посреди же улицы, с особенною торжественностью расхаживали продавцы фотографий: на громадном, двухаршинном шесте каждый из них нес перед собой, как победное знамя, портрет Марка-Июния в натуральную величину и орал также во все горло:

– Новейшее чудо! воскресший помпеец! Две лиры за мелкий формат, пять лир за кабинетный! Купите, купите! Восьмое чудо света! воскресший помпеец!

И «небывалый номер» газетчиков раскупался нарасхват; к продавцу «восьмого чуда» протягивались руки с тротуаров, из проезжающих экипажей.

– Давай его сюда, твоего помпейца!

Тут вдруг заметили едущего мимо подлинного помпейца.

– Per Dio! Да вон и сам он! сам помпеец!

И все прохожие, все проезжающие направо и налево уже

оборачиваются к нему, не то приветливо, не то насмешливо кивают ему.

– Доброго утра, синьор помпеец!

По тротуарам народ бежит вприпрыжку рядом с ним, чтобы только не упустить его из виду: позади экипажа валит целая свита зевак, больших и малых.

– Да здравствует помпеец! Evviva!

А вот в коляску – летят и букетики живых цветов. Правда, что продавцы этих цветов бегут также за коляской с протянутой рукой, и Баланцони, расщедрившись, бросает им несколько сольди из собственного уже портмоне.

– Чем не триумфатор? – говорил он. – В древнем Риме не один из твоих старых приятелей позавидовал бы тебе!

Марк-Июний, однако, был не столько польщен, как смущен.

– Нет, наши триумфаторы принимались совсем иначе... – промолвил он.

– А как же?

– Звуки труб, рожков и флейт... Гирлянды цветов на дверях и воротах... Мостовая устлана розами... Треножки пылают; алтари, курильницы дымятся... По всему пути шествия улицы с ранней зари запружены несметною толпою; окна и крыши заняты зрителями... И вот издали доносятся радостные клики. Клик растут, обращаются в один несмолкаемый гул. Толпа заволновалась, как бурное море. Процессия приближается. Впереди – длинная вереница победных

колесниц с военной добычей; за ними – такая же вереница всяких диких зверей в цепях и клетках; толпы пленников и пленниц в тяжелых оковах, могучий жертвенный бык, жрецы и Pontifex maximus²⁴: наконец, и победоносное войско, когорта за когортой, во всеоружии, в лавровых венках и с масличными ветвями; и после всех – сам триумфатор в золотой колеснице, – не развалившись на мягких подушках, как я с вами, а гордо стоя и правя своими белыми конями. Глава его увенчана лаврами, и стоящий за ним раб держит еще над ним золотой венец с драгоценными камнями. А с крыш и из окон, по всему пути, при оглушительных криках восторга, сыплется на него нескончаемый дождь венков и цветов...

– Что за картина! садись да пиши! – сказал Баланцони, жадно прислушивавшийся к отрывочной, вдохновенной речи помпейца.

– Так что же вы не пишете? – заметил Скарамуцциа, довольный, казалось, уже тем, что движение экипажа не давало репортеру тотчас записать слышанное.

– Записано, не бойтесь, – отозвался Баланцони и ткнул себя пальцем в лоб: – вон тут.

Коляска остановилась перед национальным музеем. Валившая сзади шумная толпа мигом окружила помпейца с его двумя спутниками, и те не без труда пробились на подъезд. Но и здесь им не удалось отделаться от докучного конвоя. Большинство этого разношерстного сброда, толкаясь и сши-

²⁴ Верховный жрец.

боясь в дверях, последовало за ними в музей. Швейцар, испуганный таким небывалым наплывом публики, попытался было впускать ее с некоторым разбором; но несколько оборванных уличных мальчишек, которых он насильно высадил на улицу, с визгом и свистом тут же разбили камнями стекла в дверях и ближайших окнах. Подоспевшие полицейские разогнали маленьких буянов.

Неаполитанский национальный музей – единственный в своем роде: это – хранилище всех древностей, найденных в окрестностях Неаполя, в том числе и в Помпее. Немногие лишь помещения отведены под картины и скульптуры сравнительно позднейших времен (начиная с Рафаэля).

Баланцони провел нашего помпейца прямо в залы средневековой итальянской школы живописи. Однако, эти произведения знаменитейших мастеров не производили, по-видимому, на Марка-Июния никакого впечатления. Довольно рассеянно слушал он и объяснения «доктора изящных искусств» о том, что каждую из этих знаменитостей можно легко признать по некоторым отличительным признакам: Рафаэля – по неземному, загадочно-мечтательному выражению его мадонн, Микеланджело – по мясистым фигурам, Тициана – по рыжеволосым красавицам, и т. д.

– Да что же ты сам-то ни слова не скажешь? – спросил наконец Баланцони. – Неужели эти картины, по-твоему, не хороши?

– Хороши... – как-то нерешительно отвечал помпеец.

– Ты не договариваешь?

– Да глаз мой, должно быть, к ним еще не пригляделся.

Ко всему новому надо сперва привыкнуть. Ведь все они написаны кажется, просто на холсте?

– Понятно.

– Для меня это вовсе не так уже понятно. В мое время картины писались прямо на стене фресками...

– Что и естественнее, и прочнее! – подхватил Скарамуцци, обрадовавшийся, что речь перешла снова на излюбленный им древности. – Не хочешь ли, мой друг, сейчас сравнить?

– Сейчас?

– Ну да, стоит только пройти в помпейский отдел.

– Здесь же, в музее?

– Да; ты найдешь там, – разумеется, кроме зданий. – всю свою Помпею, даже фрески.

– Как! вы вырезали их из стен? Да ведь это такое варварство...

– Что поделаешь, мой милый? Такие уж времена!

Любители древностей выцарапали бы, пожалуй, и фрески, как растащили не мало-таки – предметов искусства.

– На этих господ любителей не хватило бы и десяти Помпей! – подхватил Баланцони. – Спасибо еще, что у нас в Неаполе так искусно подделывают теперь помпейские древности: даже знатоку не легко отличить подделку от оригинала.

– И подделки эти продаются совершенно открыто?

– В магазинах, да; но само собою разумеется, что покупателям они предлагаются за подлинные древности.

– Да это же обман, преступное мошенничество!

– Гм; *mundus vult decipi, ergo decipiatur*²⁵. Покупатели при том – все больше из богатых иностранцев; и им приятность и нам жива. Обоюдное удовольствие!

В таких разговорах Марк-Июний незаметно очутился в помпейском отделе музея.

Здесь скоплена вся движимость открытой из-под пепла Помпеи.

Кроме бесчисленных статуй из мрамора и бронзы, свидетельствующих о высоком развитии изящного вкуса за тысячи лет тому назад, здесь есть немало предметов, наглядно иллюстрирующих тогдашние обычаи и домашний быт, как-то: разнообразные украшения женского туалета, воинское оружие, посуда и разная утварь; даже съестные припасы: окаменелые хлеба, зерна, яйца, грецкие орехи, чернослив. Кроме движимости, есть кое-что и недвижимое из области искусства: мозаичные полы и стенная живопись. Наконец, есть и представители тогдашнего человечества: окаменелые группы помпейцев, застигнутых врасплох землетрясением и живьем засушенных вулканическим пеплом.

К какому бы народу и сословию вы ни принадлежали, какие бы умственные или житейские интересы и занимали вас, но раз очутившись посреди этого давно погибшего и вдруг

²⁵ Свет хочет быть обманутым, да будет же он обманут.

как бы вновь восставшего мира, вы на время забываете действительность и всецело переноситесь в ту древнюю эпоху. Что же должен был испытывать Марк-Июний среди этой родной ему обстановки?

Как в полусне, с растерянным видом, бродил он из залы в залу. Неугомонный Баланцони в начале взял на себя роль комментатора. Но Скарамуцци очень решительно попросил его замолчать, и репортер, видя, что и без того цветы его красноречия пропадают даром, с презрительной усмешкой умолк.

Точно неодолимая сила гнала Марка-Июния все вперед да вперед. Как вдруг он вскрикнул и остановился. Внимание его приковала фреска, изображавшая Юнону в беседе с Юпитером.

– Ты видишь эту картину, верно, не в первый раз? – тихо спросил его профессор.

Помпеец, погруженный в созерцание картины, глубоко вздохнул.

– Сколько раз я стоял уже перед нею! – прошептал он. – Ведь это было лучшее украшение триклиниума (столовой) моей бедной Лутеции! Этот божественный взор Юноны по-прежнему проникает в самое сердце. Но Юпитер... – что с ним случилось!.. О, варвары, варвары!

Между тем толпа любопытных, неотступно двигавшаяся за помпейцем из зала в зал, все ближе и плотнее обступала его с двумя его спутниками. Два англичанина-туриста в

клетчатых летних костюмах, с биноклями в футлярах через плечо и с неразлучными краснокожими путеводителями в руках, заслонили своими неповоротливыми, долговязыми фигурами даже фреску, чтобы удобнее заглянуть в лицо нашего живого мертвеца, и справлялись в своих книжках, будто проверяя его подлинность. Другие зрители, из итальянцев, преспокойно ощупывали его плащ, а потом не без сердечного содрогания хватали его самого и за руку.

– Да он, господа, совсем теплый!

– А и вправду ведь, живехонек!

Такая бесцеремонность возвратила Марка-Июния опять к действительности.

– Скоро, кажется, мне и руки оторвут! – сказал он.

– Да, милый мой, – отвечал репортер, – на то ведь ты и триумфатор! В театре тебе нынче, вперед говорю, будет не такая еще овация...

– Так я лучше вовсе не пойду туда...

– И не услышишь даже Лютеции-Тетрацини?

– Ты прав: услышать ее я должен непременно!

– То-то же. Да и билеты уже взяты. Вот, *signore direttore*, на всякий случай получите ваши два билета.

– А счет вы потом представите? – не без колкости спросил Скарамуцциа.

– Не премину, почтеннейший, будьте покойны.

Глава десятая

Травля

Было за четверть часа до начала представления, и огромный театральный зал был еще довольно пуст, когда Скарамуцциа ввел туда своего взрослого питомца. Ему хотелось еще до спектакля прочесть помпейцу на месте небольшую лекцию об акустике современных театров. Но, пробираясь между кресел к своему месту, он, к неудовольствию своему, увидел, что ошибся в расчёте, что лекцию придется отложить до другого раза: Баланцони был уж тут как тут и прелюбезно кивал навстречу Марку-Июнию.

– Отлично, любезнейший, сделал, что забрался спозаранку: я успею еще рассказать тебе содержание «Вильгельма Телля». Слушай.

– Полноте, *signore dottore!* – сердито перебил Скарамуцциа. – Россини в своей опере совершенно исказил драму Шиллера...

– Положим, что так; но действие-то в ней всё-таки – осталось.

– Хорошо действие, которого не понять, если вперед не рассказать содержания пьесы!

– Марк-Июний же не знает еще настолько нашего итальянского языка...

– Да если б и знал, то ничего не разобрал бы, потому что певцы глотают половину слов.

– Это еще не беда, – вмешался тут Марк-Июний, – в пении дело не в словах.

– А в чем же?

– В музыке.

– Да что толку в музыке без слов?

– То же, дорогой учитель, говорил и скворец соловью в басне: «Не знаю, – говорит, – чего восхищаются так твоим пением? Что толку в нем без слов?» – «Толк в нем такой, – отвечал соловей, – что звуками я умею сказать то, чего не выскажешь никакими словами».

– Вот именно! – подхватил Баланцони и для памяти отметил на манжетке: «Скворец и Соловей». – Опера «Вильгельм Телль» – лебединая песнь Россини, и, хотя она сочинена еще в 1829 году, а лучше её у нас до сих пор ничего нет, да и не будет! Теперь я передам тебе вкратце содержание оперы.

Но не рассказал он и всего первого действия, как оркестр заиграл увертюру. Партер и ложи наполнились между тем избранною публикой. Пурпуровый плащ помпейца тотчас обращал внимание всякого входящего; бинокли всех направлялись на него, все были заняты им одним. Но при первых звуках прелестной увертюры все кругом притихло. Один только неутомимый репортер «Трибуны», как ни в чем не бывало, продолжал свой рассказ довольно громко. За спиной его слышалось легкое шиканье. Рассказчик надменно оглянулся

и еще более возвысил голос.

– Ч-ш-ш-ш! – пронесся теперь как бы резкий свист ветра снизу доверху по всему театральному залу.

Лицо репортера побагровело; но ему ничего не оставалось как замолчать.

Когда кларнет начал выделять известную, очаровательную трель, некоторые из зрителей стали тихонько подпевать. Подобно отдаленным звукам эоловой арфы, это экспромтное пение было сперва едва слышно; но потом становилось все дружнее и громче. Когда же загремел заключительный марш, весь театр уже вторил восторженно оркестру.

– Вот тебе заразительная сила соловьиной песни без слов! – шепнул Марк-Июний Скарамуцци.

Занавес взвился, и представление началось. Роскошный декорации, изображавшие живописный швейцарский ландшафт, характерные костюмы актеров-поселян и, особенно, звучный хор их не преминули пленить вначале взор и слух помпейца, не привыкшего к такой богатой обстановке. Но он все ждал Лютеции-Тетрацини, которой еще не было на сцене.

– Скоро ли она, наконец, выйдет? – спросил он Баланцони.

– Кто? Твоя Лютеция? Потерпи немножко: она появится только во втором действии.

– Во втором!

С этого момента пьеса уже мало его занимал, и он не мог

подавить зевоты.

– Ага! зеваешь? – обрадовался Скарамуцци.

– Да вонь, оглянись хоть кругом: занимает ли кого-нибудь эта ваша драма?

В самом деле, можно было подумать, что присутствовавшая многочисленная публика стеклась сюда не ради оперы, а для свидания с знакомыми, – людей посмотреть и себя показать.

Когда со сцены доносился бьющий в ухо мотив, всякий, правда, начинал опять мурлыкать его про себя; но самое действие было, казалось, всем так известно, что в редкой ложе кто-нибудь глядел на сцену. Сидевшие у барьера разряженные дамы, обмахиваясь веерами, весело болтали с стоявшими позади их кавалерами или же биноклем водили по ярусам и партеру.

– В этом ты, пожалуй, отчасти прав, – сказал Баланцони. – Но самый театр, согласишься, не чета вашим древним театрам?

– Как тебе сказать? Этих мелких золотых украшений по борту у нас, точно, не было; не было и этого яркого электрического освещения, от которого в глазах рябит. Зато с перил свешивались пестрые сиракузские ковры; колонны и столбы были увиты, связаны между собою цветочными гирляндами; ложи патрициев и всадников так и пестрели шелком, пурпуром и золотом; но что всего важнее, – над головой у нас не было потолка, а светилось ясное, чистое небо; дышалось легко, да и глазам не было больно. Сколько человек помещается

у вас здесь?

– Тысячи две.

– Только-то? А в нашем амфитеатре умещалось их двадцать тысяч! И ведь яблоку негде было упасть, никто глаз не смел оторвать от арены...

– Особливо, неправда ли, когда травили кого-нибудь дикими зверями? – саркастически заметил Баланцони.

– Да кого же мы травили? только каких-то евреев да христиан.

– Только? это бесподобно!

Хотя большинство публики, как сказано, не глядело на сцену и только мимоходом ловило долетавшие оттуда гармонические звуки, но оживленный разговор наших трех знакомцев, с минуты на минуту становившийся слышнее, обратил, наконец, общее внимание. Все бинокли со всех ярусов направились на одну точку в партере – на помпейца.

Тот, однако, этого уже не видел: он весь был поглощен происходившими на сцене. Лазурное небо над вершинами гор заволокло там вдруг мрачными тучами, завыл ветер, блеснула молния, загрохотал гром; волны на озере заходили выше и грознее. Никогда не видал такого искусного воспроизведения величественного явления природы, Марк-Июний был очарован. В то же время и самое действие на сцене, под стать природе, оживилось. Вбежал человек с окровавленным топором и бросился в ноги рыбакам, умоляя переправить его на тот берег: он убил своего обидчика, бургфогта, и погоня

за ним по пятам. Рыбаки наотрез отказываются: озеро слишком бурно. И вправду: волны все выше, молния так и сверкает, гром гремит, не умолкая. Тут является Телль и, узнав, в чем дело, с решимостью прыгает в лодку: – «С Богом же! Я попытаюсь». Едва только он отчалил, как и стража, преследующая убийцу, – уже тут как тут. Но лодка, то ныряя в глубину, то взлетая на гребнях волн, уносит его все далее.

Марк-Июний забыл, казалось, что перед ним спектакль, а не действительность. Вскочив на ноги, он громко захлопал и еще громче крикнул Теллю:

– Не унывай, друг! Греби хорошенько!

Баланцони с усмешкой оглянулся на окружающих, забил также в ладоши и заорал под тон помпейцу:

– Греби, греби хорошенько!

Невнимание к актерам охотно прощается; невнимание к публике – ни под каким видом. Весь театр сверху донизу зажужжал, загудел, как пчелиный улей. Послышались явственно негодующие голоса:

– Это уже ни на что похоже! Чего смотрит полиция?

Профессору не без труда удалось на этот раз еще угомонить своего забывшегося ученика.

Так прошел первый акт; после небольшого антракта, начался второй. Когда тут из-за кулис показалась столь долго ожидаемая помпейцем певица, игравшая роль Матильды, он в первую минуту был разочарован: ни фигурой, ни лицом она не походила на его покойную невесту. Но вот прозвучал

её голос, и сердце в нем опять дрогнуло. Когда же началась сцена её с Арнольдом, и она затянула свою известную арию, Марк-Июний, вне себя, крикнул на весь громадный театр:

– Лютеция! о, Лютеция!

Такой перерыв зрителем бравурной арии любимой певицы был чем-то совершенно неслыханным. Кругом раздались уже сотни голосов:

– Вон, вон! да где же полиция?

Теперь и полиция, в лице дежурного офицера, предстала пред нарушителем общественного порядка. Скарамуцциа, не выжидая, пока их силой выведут, схватил Марка-Июния под руку и поспешил с ним к выходу.

– Вот тебе, Марк-Июний, тоже травля, – говорил следовавший за ними Баланцони. – Теперь ты отчасти понимаешь, что испытывали христиане-мученики, когда их травили в вашем цирке?

Глава одиннадцатая

На родной почве

Самолюбивому профессору естественно была крайне неприятна описанная сейчас травля, в которой он, европейский ученый, оказался также страдательным лицом. Но травля эта имела хоть одну благодетельную сторону: Марк-Июний должен был окончательно извериться в современном человечестве и искать забвения в спасительном мире наук.

На следующее утро ученик его, действительно, был еще в более подавленном настроении, чем накануне.

– Ты плохо спал, сын мой? – стал допытываться профессор.

– Вовсе не спал... – был глухой ответ.

– Что так?

– Да сводил счеты с жизнью. Хотя я и дитя стародавних времен, но телом и духом еще молод; и вдруг сказать себе, что ты на земле чужой, что тебе на ней нет уже места; это, как хочешь, тяжело, обидно!

– Что ты, что ты, милый! – встревожился Скарамуцциа. – Ты разочаровался в людях, – и благо тебе: тем дороже тебе будет наука. Сейчас же повезу тебя опять по фабрикам, по заводам...

Марк-Июний безнадежно покачал головой.

– Нет уж, увольь меня, учитель!

– Как же мне быть с тобой? Рассеять тебя теперь необходимо. Знаешь, что: после всех грубых технических производств я думал, в виде десерта, угостить тебя самым утонченным научным блюдом, – движущейся фотографией; это, я тебе скажу, такое воспроизведение действительности...

– Да, для тебя, современного человека, это должно быть очень любопытно, – согласился помпеец. – Меня же, поверь, все эти новые чудеса, как и те, что ты уже показал мне, более пугают, отталкивают. В какие-нибудь два дня я убедился, что человечество, несмотря на всю вашу так называемую цивилизацию, сделалось беднее, несчастнее прежнего. На что человеку всевозможные ваши житейские удобства, если он к ним завтра же привыкнет, и они ему затем уже не доставляют никакого удовольствия? Да и многие ли имеют возможность пользоваться ими? На одну чашку весов вы кладете удобства десятков состоятельных людей, а на другую – здоровье всей остальной миллионной массы ваших братьев. Удивляет меня только, как они еще находят в себе силу жить?

– Привычка, любезный друг, – сказал Скарамуцциа: – как к роскоши, так и к бедности одинаково привыкаешь. И они в своем роде даже счастливы: сам ты ведь видел, как они суеются, хлопочут, болтают, смеются. Много ли им для счастья их нужно? Помидоров да макарон, олеографий да фотографий, а прежде всего – своя среда, своя семья.

– Вот именно! вот и разгадка! – подхватил Марк-Июний. –

Как неприглядна ни была бы наша жизнь, искусство придает ей праздничную окраску, а своя среда, своя семья делают ее нам близкою и милою. Родная обстановка, родные люди – вот первое условие человеческого счастья; без него и жизнь не в жизнь. Для меня, – увы! – и нынешнее искусство как-то дико, не по душе; а близких людей никого не осталось. Сама родина моя обратилась для меня в чужбину, и люди, и язык их, и нравы, и взгляды, и удовольствия – все, все мне уже чуждо. Я совсем одинок, никому не нужен...

– Про меня ты забыл, мой милый? – с укоризной сказал Скарамуцциа.

Марк-Июний взял его за руку.

– Не сердись, великодушный друг мой! Я говорил это не в обиду тебе. Но ведь я вижу, что ты слишком предан своей науке, чтобы придавать еще значение обыкновенным человеческим симпатиям. Я интересовал тебя, как научный «субъект», и очень рад, что за все твои заботы обо мне мог отплатить тебе хоть своей персоной. Но теперь ты меня насквозь, кажется, изучил; самого же меня в жизни ничто уже не прельщает... Одно чувство, горькое, неодолимое, заглушило во мне все остальные – тоска по родине. Но родины моей не существует; осталось одно воспоминание о ней, кладбище – Помпея. Если ты, учитель, хочешь оказать мне еще последнюю милость, свези меня в Помпею.

– «Что с ним поделаешь? – рассуждал сам с собою профессор. – Свезти его разве туда? Скорей хоть угомонится,

отрезвится».

Перед отъездом он строго-настрого внушил Антонио ни под каким видом не выдавать Баланцони. где они; что неотвязчивый репортер скоро зайдет к ним, он не сомневался.

Когда они добрались до вокзала, до отхода поезда оставалось еще минут 10. Скарамуцци воспользовался этим временем, чтобы показать ученику паровоз. Кочегар должен был раскрыть дверцы печи, чтобы Марк-Июний мог заглянуть в это громадное огненное чрево. Затем профессор стал обстоятельно излагать ему устройство паровика. Второй звонок заставил обоих вскочить в вагон до окончания лекции. Лектор продолжал ее и в вагоне; но слушатель его никогда еще не был так невнимателен, как сегодня. Мысли его, казалось, были где-то далеко. Резкий свисток паровоза заставил его вздрогнуть, а от набившегося в открытое окно вагона едкого каменноугольного дыма он закашлялся. Скарамуцци поднял окно и шутливо заметил, что кашлять от такого дыма цивилизованному человеку даже отрадно, потому что каменный уголь – тоже плод науки и цивилизации. Марк-Июний на это хоть бы улыбнулся.

Поезд мчался по берегу Неаполитанского залива между высокими туфовыми²⁶ оградами, из-за которых заманчиво кивали усеянные плодами апельсинные и лимонные деревья, мелькали красные, зеленые и серые кровли домов. Безучастно глядел он в окошко, безучастно пропускал мимо ушей

²⁶ Туф – отвердевшие вулканические пепел и шлак.

имена перечисляемых ему Скарамуццией прибрежных местечек: Портичи, Резина, Торре-дель-Греко, Торре-Аннунциата. Только при проезде через Резину Марк-Июний сделал вопрос:

– Это, никак, Геркуланум?

– Да, здесь был Геркуланум, – отвечал профессор: – теперь он под землю, потому что исчез вместе с Помпеей.

– Но его также разрывают?

– Нет, он до сих пор почти не тронут, потому что его залило лавой, и сверху вырос новый городок Резина. Под мостовой, впрочем, кое-где прорыты ходы и галереи, и по ним можно гулять с факелом. Когда-нибудь, если хочешь, спустимся тоже в этот подземный город?

– Когда-нибудь!.. Теперь я думаю только о Помпее.

Но вот поезд домчал их и до станции Помпеи.

Марк-Июний горел таким нетерпением поскорее увидеть дорогой ему город, что опередил своего учителя и насильно протеснился мимо вертящегося контрольного колеса у кассы, не обращая внимания на кассира, который кричал и махал ему рукой:

– А плату-то за вход, синьор!

– Я заплачу за него, – сказал Скарамуцция и поспешил вслед за помпейцем.

Нагнал он его на ближайшей улице восставшего из-под пепла города. Марк-Июний стоял посреди улицы на коленях и с благоговением припадал губами к каменной мостовой.

– Что ты делаешь? – спросил Скарамущиа.

– Что я делаю? Да как же мне, скажи, после стольких лет отлучки не целовать родной почвы! Взгляни только, взгляни: ведь каждый камень тут положен руками моих братьев. Даже две колеи на них от колесниц сохранились по всей мостовой, будто сейчас здесь еще гремели колеса. Да и сам я сколько раз, бывало, бороздил эти камни, когда проезжал к Лютеции или назад от неё, на свою виллу...

Он со вздохом приподнялся и тут только, казалось, заметил синевшее в отдалении море.

– Помилуй, Нептун! – воскликнул он. – Да где же гавань?

– Древней гавани, как видишь, и следа уже нет, – отвечал профессор. – Море тогда же отхлынуло и не возвратилось.

Помпеец с растерянным видом огляделся. Безмолвным рядом гробниц тянулись пред ним невысокие домики его современников-помпейцев. Двери или, вернее, отверстия, служившие входом в дома, ничем не были теперь завешаны и как-то осиротело зияли. Ни одна статуя не украшала наружного фасада зданий, и отсутствие окон на улицу придавало им еще более безотрадный вид.

– Мне сдается, право, – сказал Марк-Июний, – что дома эти нарочно закрыли глаза, чтобы только не видеть запустения вокруг...

И, махнув рукой, он побрел далее. Как все здесь ему издавна знакомо! На перекрестках через улицу переложены высокие камни, чтобы в грязную пору пешеходы могли сухо

перебраться с панели на панель. На углу водоем: грубо-высеченная из камня голова с широко раскрытым ртом, из которого некогда была неиссякаемая струя в мраморный бассейн. Края бассейна глубоко захватаны от налегавших на них рук; нос и рот статуи до неузнаваемости стерты припадавшими к воде жадными губами. По-прежнему все стоит она, безликая, с разинутым зевом; но ни капли уже не сочится оттуда...

Марк-Июний вышел на древний форум. Не было там ни одной почти колонны, не пострадавшей от землетрясения: у одних были отбиты верхушки, другие опрокинулись и валялись на земле.

– Что случилось с этим чудным местом! – сказал помпеец. – Как теперь помню здесь последний народный праздник. – Между колоннами были развешаны гирлянды разноцветных фонарей; а вся площадь так и кишела веселящимся народом. Тут, на общую потеху, боролись два известных силача; там показывали свое искусство фигляры, акробаты, толкователи снов... Всеобщий говор, гам, ликование, веселье так и било через край! И вот, вместо того, теперь одни каменные обломки, полное безлюдье, мертвая тишина... Разве спугнёшь ногой какую-нибудь ящерицу, что грелась на солнце...

– Или столкнешься с таких вон непрошенными гостями, – добавил Скарамуцциа, указывая на появившуюся на другом конце форума компанию англичан.

– От альбионцев этих, кажется, нигде не укроешься! – пробормотал помпеец и свернул в сторону.

Большими шагами он шел вперёд, не замечая пути перед собою. Вдруг он остановился, как вкопанный, перед порогом одного дома. На пороге этом входящего приветствовала крупная мозаичная надпись: «Salve»²⁷.

– Точно сама она зовет меня к себе... – печально и тихо промолвил Марк-Июний.

– Кто такой? – спросил Скарамуцциа.

– Лютеция!.. это – её вилла.

С видимым колебанием переступил он заветный порог. Но и здесь был тот же вид разрушения, запустения: от мраморной цистерны для дождевой воды посреди атриума²⁸ осталась только впадина в полу; вместо стенной живописи кругом виднелись одни шероховатые вырезки на стенах; а сакрариума и ларариума²⁹ не было и следа.

Путники наши перешли в перестиль³⁰. О былой красе, былой уютиности его свидетельствовали только расцветавшие кругом дикий жасмин и шиповник.

– Тут был целый цветник, – с глубокою грустью заговорил Марк-Июний. – Между колоннами этими стояли цветочные корзины с фиалками, нарциссами, шафраном. По всей крыше кругом вились плющ и розы. Посредине же, вся в цве-

²⁷ «Здравствуй!»

²⁸ Атриум – крытый портик для семьи и гостей.

²⁹ Сакрариум – каплица с домашними богами, пенатами, ларариум – киот с изображениями домашних богов, ларов.

³⁰ Перестиль – окруженный колоннадой внутренний дворик.

тах, стояла богиня красоты... Эта дверь вела прямо в лавровую рощу, откуда слышались журчание фонтана, рокот соловья... И все это пропало безвозвратно!

– Ну, полно, пойдем, – прервал профессор, – о невозвратном что вспоминать! Все равно, не воротишь. Я покажу тебе сейчас прелюбопытную надпись.

Выйдя на улицу, он подвел ученика к высокой каменной ограде, на которой красовалась аршинная надпись: обыватели Помпеи приглашались в амфитеатр на звериную травлю. Но нервы Марка-Июния были уже так чувствительно настроены, что, прочитав надпись, он прослезился.

– Ведь вот! – сказал он, – точно это было только вчера... Скарамуцциа его уже не слышал: в нескольких шагах от себя он заметил такое самоуправство, что поспешно направил туда шаги и крикнул по-английски:

– Сэр! что вы позволяете себе?

Глава двенадцатая

Лютеция

Слова профессора относились к высокому и очень видно-му собой старику-англичанину из той самой компании туристов, что давеча попалась им на форуме. Вся небольшая кучка англичан обступила старика, как бы заслоняя его от посторонних взоров; сам он возился около хорошо сохранившейся колонны, небольшим молоточком с ловкостью каменщика отбивая у неё узорчатый угол.

Услышав оклик, непризванный каменщик, как пойманный на шалости школьник, быстро спрятал оружие свое в карман, после чего гордо выпрямился и окинул подходящего к нему профессора с головы до ног высокомерным взглядом.

– Что вам угодно, сэр?

– Прежде всего я попрошу вас отдать мне сейчас ваш молоток.

– Какой такой молоток?

– А вот этот.

И Скарамуцциа без околичностей полез к нему рукой в карман, откуда вытащил молоточек.

– Вы забываетесь! – вскинулся англичанин, вспыхнув от стыда и гнева.

– Не знаю, кто из нас двоих более забылся. За ваше само-

управство я мог бы тотчас отправить вас в полицию...

– Как?! Меня, члена английского парламента, лорда Честерчиза, в полицию?

– Мне очень прискорбно слышать о вашем высоком звании...

– Да сами-то вы, сэр, кто такой, что позволяете себе распряжаться здесь, как хозяин?

– В некотором роде я, точно, хозяин, потому что я – директор здешних работ.

– А! так вы, стало быть, известный профессор Скарамуцциа? – значительно мягче произнес лорд Честерчиз.

– Да, сэр. Но где, позвольте узнать, проводник ваш? Ведь при вас должен же быть проводник...

– А я услад его в гостиницу «Диомеда» за апельсинами для моей дочери.

– Или, вернее, чтобы удалить его?

Лорд Честерчиз готов был опять обидеться; но, одумавшись, перешел в снисходительно-фамильярный тон:

– Вы, господин профессор, конечно, лучше всякого другого поймете страсть археолога к предметам древности! Я вот такой любитель-археолог, и потому не могу видеть какой-нибудь древности равнодушно... Чего тебе, my dear? – отнесся он к одной из своих спутниц, которая в это время тихо положила ему на руку свою маленькую ручку, одетую в шведскую перчатку о десяти пуговицах.

До сих пор она в черепаховую лорнетку очень вниматель-

но разглядывала помпейца, точно то был не человек, а редкостный зверь. Лица её самой, защищенного от палящего южного солнца густою белою вуалью, хорошенько нельзя было разглядеть; но широкополая соломенная шляпка с белым страусовым пером сидела на голове её преградиционно, вся фигура её была удивительно изящна. На вопрос лорда, она стала что-то ему настойчиво нашептывать.

– Well³¹, – сказал он и обратился опять к профессору: – Вот дочь моя интересуется узнать: молодой этот человек – не тот ли самый помпеец которого вам, господин профессор, удалось отрыть и воскресить?

– Тот самый.

Гордый член английского парламента милостиво протянул Марку-Июнию два пальца и произнес довольно правильно по-латыни:

– Позволь познакомиться: я – такой же, как и ты, патриций, только из «туманного Альбиона»; а это – дочь моя...

Помпеец молчаливо ей поклонился.

– Дело вот в чем, – продолжал её отец, – ты знаешь, вероятно, что такое альбомы? Сама по себе мысль недурная – собирать на память в одну книжку предметы, напоминающие дорогих или интересных нам людей. Сперва была мода на письменные альбомы; потом их вытеснили фотографические. Но и те теперь опошлись: нет прислуги, у которой не имелось бы такого альбома! Дочь моя придумала новый род

³¹ Хорошо.

альбомов: все знакомые должны уделять ей по локону волос, и каждый локон, разумеется, снабжается соответствующей надписью. До сих пор никто ей не отказывал: всякому лестно попасть в её альбом, если не в собственной персоне, то в частице своей персоны. Надеюсь, что и ты не откажешь ей в такой мелочи?

Марк-Июний не сумел по достоинству оценить лестности сделанного ему предложения.

– Дочь твоя желает надсмеяться надо мною? – про молвил он, окидывая барышню огненно-сумрачным взглядом.

– Спроси его, не было ли у него невесты? – шепнула она отцу, и тот перевел помпейцу её вопрос.

– Может быть, и была... – был ответ.

– Так скажи ему, что я прошу его именем его, покойной невесты.

Услышав просьбу в такой форме, Марк-Июний грустно улыбнулся.

– Да и ножниц ведь нет у нас под рукой, – отговорился он.

Отговорка ни к чему ему не послужила. Ножницы тут же оказались в руках предусмотрительной мисс Честерчиз, и ему ничего не оставалось, как преклонить голову, чтобы дать ей срезать у него клочек его черных кудрей.

– I thank you³², – проговорила она, кивнув ему с величественной благодарностью королевы; затем вполголоса заметила отцу, не найдет ли он нужным пригласить теперь обо-

³² Благодарю вас.

их – профессора и помпейца – к «Диомеду» на стакан хорошего вина или чашку шоколаду.

– Твоя правда, – согласился тот и передал обоим приглашение дочери.

Приглашение было принято, и все четверо, а за ними и вся остальная компания англичан, двинулись из Мертвого города обратно к выходу, около которого находится гостиница «Диомеда».

После испытанного с самого утра палящего солнечного зноя Марк-Июний с удовольствием вступил в прохладную сень просторной столовой гостиницы. Сам хозяин со своими гарсонами заметался, как угорелые, чтобы достойно принять господина директора раскопок с сопровождавшими его «знатными иностранцами». На столе тотчас появились разные вина, прохладительные напитки, фрукты, печенье.

– А шоколад будет сию минуту, *signore direttore*, – уверил хозяин, – сию секунду!

Мисс Честерчиз, в ожидании шоколада, ограничилась стаканом лимонада. Поднося стакан к губам, она откинула с лица вуаль. У помпейца, сидевшего наискосок от неё, вырвался такой крик не то радости, не то испуга, что все кругом на него оглянулись. А он не отрывал очарованного взора от молодой англичанки. Черты лица её были, действительно, классически правильны, а вспыхнувший теперь на щеках её нежный румянец сделал ее еще привлекательнее.

– Да не гляди же на нее так, неприлично! – шепнул Мар-

ку-Июнию профессор.

– Но ведь это же совсем Лютеция, – пробормотал тот, сам смутившись.

Скарамуцциа счел долгом оправдать своего ученика перед Честерчизами, родителем и дочерью, поразительным сходством последней с покойной невестой помпейца. Причина была столь уважительна, что не вызвала возражений. Красавица-мисс снизошла даже чуть-чуть улыбнуться, а потом, когда ей подали чашку шоколаду, она пила его маленькими глоточками, не поднимая глаз, но в то же время, видимо, прислушиваясь к разговору отца с Марком-Июнием, как бы желая уловить смысл непонятных ей латинских фраз.

Тут за окном застучали колеса и лошадиные подковы.

– Вот и наши экипажи, – объявил один из туристов, выглянувший в окошко, и все разом поднялись с мест.

– Да вы куда отсюда? – спросил, встрепенувшись, Марк-Июний. – В Неаполь же есть железная дорога?

– Нет, мы на Везувий, – отвечал лорд Честерчиз. – До Торре-Аннунциаты мы едем в колясках, а оттуда уже верхом.

– Учитель! – обратился помпеец к профессору. – Поедем и мы тоже с ними!

Глаза его горели таким лихорадочным огнем, что Скарамуцциа покачал головой.

– Уж если подниматься на Везувий, – сказал он, – то по зубчатке от Резины, куда можно проехать прямо по железной дороге.

– А вот подите, потолкуйте с моей упряницей! – отозвался лорд Честерчиз. – Забила себе в голову ехать туда верхом, во что бы то ни стало...

– А вы, профессор, тоже на Везувий? – вмешалась упряница.

– Не столько я... – замялся Скарамуцциа.

– Сколько ваш ученик?

– Н-да... А где он, там и я.

– Так что же, милый папа? У нас в коляске есть как раз еще два места...

И вот, они оба, учитель и ученик, сидят уже в коляске Честерчизов: профессор – против отца, а помпеец – против дочери. Хорошо еще, что она закрылась снова своей густой вуалью, из-за которой едва-едва светятся глаза. Но пылкое воображение молодого человека дополняло недостающее, и он готов был верить, что перед ним – его настоящая Лютеция...

Сама мисс Честерчиз, казалось, не обращала уже на него ни малейшего внимания. Когда они въехали в маленький городок Торре-Аннунциата, она, в свою черепаховую лорнетку все время поглядывала по сторонам, чтобы не пропустить ничего замечательного.

– Мистер Скарамуцциа! Посмотрите, что это такое? – спросила она, указывая лорнеткой на какие-то желтые тесемки, целыми рядами развешанные на длинных шестах перед одним домом.

– А макароны.

– Макароны на улице?

– Да, на солнце они лучше всего сушатся; и топка даровая.

– Но помилуйте: на них летит вся пыль от наших экипажей!

– На зубах немножко похрустит, не беда. Здешние макаронные фабрики славятся по всему свету, далее за Океаном. Американцы вписывают их от нас ящиками.

– Поздравляю американцев! Что же до меня, то теперь я ни за что уже не возьму в рот ваших итальянских макарон. Ах, Боже мой! Вот картина-то!

И барышня залилась серебристым смехом. А картина, в самом деле, была преоригинальная: на перекресте двух улиц стояла корова; перед нею сидел на корточках мужчина и доил ее по всем правилам молочного хозяйства, а вокруг столпилось несколько женщин с пустыми жестяными кружками, в ожидании, когда до них дойдет очередь получить свою порцию.

Но вот и станция: коляска остановилась. Надо было пересесть на вперед уже заказанных верховых лошадей и ослов. Нашлось по лошади и для профессора с его учеником. Мисс Честерчиз также дала посадить себя на лошадь. Отец же её предпочел небольшого, предобродушного на вид ослика. Едва лишь он, однако, при помощи проводника, взобрался на спину ослика, как тот задрал хвост и заревел благим матом. Важный всадник побагровел от смущения и досады и принялся немилосердно дубасить ослика своим зонтом, чтобы

заставить его замолчать.

– Не бейте его синьор! – предостерег проводник. – Как начнет брыкаться, так вам не усидеть.

Делать нечего, пришлось обождать, пока длинноухий певец постепенно замирающим голосом не окончил своей арии.

– Да неужели нет никакого средства не давать кричать этим животным? – спросил в сердцах лорд профессора.

Тот передал вопрос проводнику по-итальянски.

– Есть-то есть, – отвечал проводник, – но больше для ночного времени, чтобы не мешали людям спать.

– Какое же это средство?

– А к хвосту осла привязывают кирпич.

– Ну?

– Да осел ведь не может кричать, не задрав хвоста кверху.

Скарамуцциа, как уже знают читатели, очень редко улыбался; на этот раз он не мог подавить улыбки. Когда же он перевел слова проводника по-английски, раздался общий хохот; сам лорд Честерчиз кисло усмехнулся.

– Очень рад, милостивые государыни и государи, – сказал он, – что способствовал в некотором роде вашему веселью.

Один лишь Марк-Июний, не знавший ни по-итальянски, ни по-английски, не понял, о чем шла речь; но Лютеция смеялась, так как же было ему остаться серьезным?

Кавалькада тронулась легкою рысью; проводники бежали рядом и сорванными по пути ветками по временам подхле-

стывали более ленивых животных. Ослик лорда Честерчиза оказался обидчивее своих товарищей: в ответ на довольно хлесткий удар, он стал брыкаться, так что старик-англичанин потребовал, чтобы ослика его отнюдь не трогали.

Так ехали они уже более часу. Торре-Аннунциата давно осталась позади. Дорога шла постепенно в гору по бесплодной местности, густо покрытой вулканическим пеплом. Чтобы дать передохнуть животным, приходилось иногда ехать и шагом.

– Какая скука! – заметила мисс Честерчиз. – Когда же мы, наконец, доплетемся? Господин профессор! пустимся-ка вскачь?

– Не по моим летам, мисс, – уклонился профессор. – Вот Марк-Июний, я уверен, охотно с вами поскачет.

Надо ли говорить, что Марк-Июний не дал долго просить себя?

Мисс Честерчиз оказалась прекрасной наездницей и полетела вперед, как вихрь. Помпеец, также лихой наездник, мчался вслед за нею, но все-таки не мог ее нагнать. Вдруг от стремительного движения навстречу горному ветру легкая соломенная шляпка с вуалью сорвалась с головы девушки. Марк-Июний тотчас задержал своего коня, чтобы подобрать шляпку. Но молодая наездница даже не оглянулась и, как окрыленная, неслась все вперед да вперед. Ветер играл её роскошными белокурыми волосами, точно стараясь расплести их. И вот, это ему удалось: золотистая волна широко

распустилась по её спине и плечам.

Догонявший ее помпеец крикнул ей теперь, чтобы она остановилась. И она сразу остановила лошадь, которая была вся уже в мыле. Живой рукой молодая девушка сплела свои волосы в косу и, приняв от Марка-Июния с милостивой улыбкой шляпку, накрыла ею свою золотую головку. Еще миг, – и её пылающее лицо, блестящие глаза скрылись опять под густую белую вуалью.

Дальнейший путь свой они продолжали уже шагом до самого подножия Везувия. Здесь постепенно примкнули к ним и остальные туристы. Но ослик лорда Честерчиза, не раз, конечно, уже испытывавший трудности подъема на кручу вулкана, уперся буквально «как осел». Когда же проводник имел неосторожность прибегнуть снова к своей древесной плетке, ослик преспокойно прилег наземь. Лорд, не приготовленный к такому пассажиру, скатился кубарем с седла и растянулся рядом. Зрелище это хоть кого бы рассмешило. Проводники и то меж собой пофыркивали; благовоспитанные же спутники досточтимого члена парламента, покусывая губы, наперерыв выражали свое «теплое» участие пострадавшему. Пострадал, впрочем, скорее его светлый летний костюм от глубокого пепла, который самого его уберег от ушиба.

Предстояла удивительнейшая часть пути – восхождение на вершину вулкана крутыми зигзагами устроенной хозяином гостиницы «Диомеда» на свой счет дороги. Пуганая ворона и куста боится. Лорд Честерчиз отказался теперь не

только от своего ослика, но и от любезно предложенной ему Марком-Июнием собственной своей лошади. – Чтоб она сбросила меня, и я сломал себе шею? – буркнул старик. – Я видел, как она бешено несла тебя.

– Так держитесь хоть за хвост моей лошади. – предложил Скарамуцциа.

– За хвост?

– Да, это очень облегчает восхождение и постоянно у нас практикуется.

– Но такая, более чем странная поза...

– А мы двинемся после всех, и вашей позы никто не заметит.

Выбора не было, и лорд Честерчиз, скрепя сердце, воспользовался предложенным ему практическим способом. Тем не менее он не мог воспрепятствовать ехавшим впереди украдкой оглядываться на поворотах дороги и любоваться его комической фигурой с распушенным белым зонтом в одной руке и с лошадиным хвостом в другой. Зато он добрался вполне благополучно до центрального пепельного конуса, окружающего кратер. Далее, на почти отвесную крутизну взбираться лошадям было решительно невозможно; но несколько носильщиков с креслами и ремнями были уже тут к услугам туристов. Честерчизы дали внести себя наверх на креслах; профессора втащили за ремень; Марк-Июний же с легкостью молодости, без посторонней помощи, опередил всех.

Глава тринадцатая

На Везувии

– Ты как сюда попал?

Удивиться помпейцу было чему: перед ним стоял с своей тонкой усмешечкой все тот же неизбежный, как рок, репортер «Трибуны».

– А зубчатка на что же? – отвечал Баланцони. – *Per aspera ad astra*³³. Не застав уже вас обоих дома, я тотчас сообразил, что вы улизнули от меня в Помпею. Я – на телеграфную станцию, телеграфирую хозяину «Диомеда»: «В Помпее ли еще *signore direttore*»? – Ответ: «Сейчас только отбыл с другими на Везувий». Я – в Резину, а оттуда по зубчатке сюда, и вот, как видишь, прибыл еще раньше вас. Нет, от нашего брата, репортера, никуда не удерешь! А кто, скажи-ка, эта важная птица, что говорить, только-что с твоим учителем?

Марк-Июний объяснил.

– О-о! Член парламента и лорд? Может пригодиться.

С развязным поклоном Баланцони подошел к лорду и от-рекомендовался. Тот свысока оглядел его и переспросил:

– Репортер «Трибуны?» Не той ли самой газеты, которую с утра до вечера выкрикивают по всей Италии: *Tribuna-a-a!* *Tributi-a-a?*

³³ По терниям к звездам.

– Той самой, милорд!

– От этих несносных криков у меня до сих пор еще болит барабанная перепонка.

И, повернувшись спиной к репортеру, лорд Честерчиз продолжал свой прерванный разговор с профессором:

– Так вулкан, говорите вы, теперь «работает»?

– Работает, но пока еще довольно умеренно, – отвечал Скарамущиа. – Жерло едва дымится. Но слышите подземный гул?

– Слышу. А это что значит?

– Это значит, что будет извержение.

– И скоро?

– Может быть, через час, а может быть, и через десять минут.

– О! И с потоками лавы?

– Не думаю.

– Жаль! А я рассчитывал скушать яйцо, испеченное в горячем пепле. Ведь здесь можно достать свежих куриных яиц?

– Можно, милорд, можно! – поспешил ответить Баланцони, выжидавший только случая, чтобы вмешаться опять в разговор. – Сколько я знаю, недалеко отсюда должна быть и расщелина, где есть горячий пепел и постоянно течет даже лава. Сейчас пойду, разузнаю.

Тем временем Марк-Июний не сводил глаз с молодой парочки – мисс Честерчиз и откуда-то взявшегося молодого ан-

гличанина. Они болтали меж собой непринужденно и весело, как давнишние знакомые. Прелестное личико молодой девушки сияло таким радостным оживлением, что у помпейца сердце сжалось.

Позволь мне познакомить тебя с будущим супругом моей дочери, – услышал он тут около себя голос лорда Честерчиза.

«Так она уже сговорена!». Марку-Июнию стоило не малого усилия над собой, чтобы не выдать происходящего в глубине его души, когда старик подвел его к будущему своему зятю. А тот, приятно оскалив свои длинные, плотоядные зубы, протянул уже ему руку в свежей лайковой перчатке и заговорил что-то быстро-быстро на своем непонятном языке.

– Время – деньги, наш английский девиз, – пояснил помпейцу по-латыни лорд Честерчиз. – Зять мой предлагает тебе очень выгодную аферу. Ведь ты теперь, вероятно, без всяких средств?

– Да, все, что у меня когда-то было, погибло вместе с Помпеей.

– Ну, вот. А он – главный пайщик одной из крупнейших лондонских фирм, показывающей публике всякие курьезы...

– И меня он хочет также показывать этак за деньги?! – воскликнул Марк-Июний.

– Да ведь ты, скажем прямо, все равно, что нищий, а он готов предоставить тебе половину выручки.

И все это говорилось ему в лицо в присутствии самой Лю-

теции, и она хоть бы бровью повела!

Он отвернулся, чтобы не показать выступивших у него на ресницах слез досады и стыда, и отошел прочь. Скарамуцци пошел было вслед за ним, чтобы успокоить его уверением, что о будущности своей ему нечего беспокоиться, что он, Скарамуцци, усыновит его, – когда кто-то его вдруг окликнул.

Неподалеку стояли два субъекта: один в простой синей блузе, в красном колпаке, другой – даже без сапог и головного убора. Первый манил его рукой.

– *Signore direttore!* да подойдите же ближе.

Профессор приблизился и сперва не хотел верить своим глазам: субъект в блузе и колпаке был никто иной, как Баланцони!

– Вы ли это, *signore dottore?* – спросил его Скарамуцци. – Для чего этот маскарад?

– Да ограбили среди бела дня...

– Кто ограбил?

– Бандит.

– Здесь, меж нас?

– То-то, что не здесь, а под спуском. Сейчас вот все расскажу, одолжите мне только до завтра сто лир, чтобы откупиться от этого мошенника.

И репортер указал на своего полураздетого спутника. Тот с видом оскорбленного достоинства ударил себя кулаком в грудь.

– Меня же, который вас великодушно выручил, одел, пригрел, вы смеете называть мошенником! Извольте сейчас возвратить мне мое платье. Я – честный проводник, живу своим трудом...

– Ну, ну, ну, не сердись, любезный! – поспешил уговорить его Баланцони. – Не всякое лыко в строку. *Signore direttore!* Бога ради, отдайте ему сто лир...

– Да за что? Неужели за какую-то старую блузу и колпак?...

– И за сапоги! – с ударением досказал великодушный субъект. – Сапоги роскошные.

– Но все это не стоит и тридцати лир.

– А зачем мне от моего счастья отказываться?

– Отпустите уж его, *signore direttore!* – еще настоятельнее взмолился Баланцони.

Скарамуцциа пожал плечами и удовлетворил прежнего владельца названных роскошных принадлежностей туалета. Тот пожелал им обоим доброго здоровья ж, весело посвистывая, удалился.

– Ну, а теперь расскажите-ка толком, как это с вами случилось? – обратился профессор снова к репортёру. – Как случилось? А очень просто, – отвечал тот. – Взясся я, как вы знаете, разыскать для этого лорда (чтобы ему провалиться!) исток лавы; справился у проводников. Те заломили с меня пять лир, чтобы только проводить до места...

– И вы пошли одни?

– А то как же? Не бросать же этим живодерам ни за что, ни про что, пять лир! Едва только спустился на ту сторону, как передо мной вырос из-под земли какой-то бродяга и приставил к груди моей револьвер.

– Не пугайтесь, синьор, я вас не трону. Не извольте только кричать. Скажите, пожалуйста, который час?

Вынул я часы, а он – хватъ у меня из рук.

– Славные, – говорит, – часики! Не подарит-ли мне их синьор?

Что с ним поделаешь?..

– Возьми, – говорю.

– Покорно благодарю. Может быть, синьор не откажет мне и в паре сольди на добрый стакан вина?

Достал я кошелек, а он – хватъ опять из рук.

– Зачем синьору трудиться? Я и сам отыщу. Вот подошвы у меня, – говорит, – на беду прорвались. Эти шлаки здесь – хуже нет! Покажите-ка, синьор, ваши подошвы.

Показал я ему, а он:

– О! совсем еще целы. Вы, синьор, отсюда, верно, опять домой, к себе в Неаполь?

– В Неаполь, – говорю.

– Ну, так там сейчас купите себе новую обувь. А я отсюда когда-то еще соберусь! Уступите-ка уж мне?

Хочешь-не хочешь, пришлось разуться. Он тут же обулся.

– Точно на меня, – говорит, – сшиты! Может, и сюртук ваш мне в пору? Позвольте-ка примерить.

Снял я сюртук, а шляпу он и сам с меня снял.

– Одно к одному, – говорит. – Не могу ли я вам, синьор, тоже чем услужить?

Я попросил его возвратить мне только мою записную книжку.

– Сделайте одолжение! – говорит. – Могу дать вам и расписку в получении. С кем имею честь?

Когда я назвался, он вежливо снял шляпу (мою же шляпу!) и вписал мне в записную книжку, что получил, дескать, от меня в долг десять тысяч лир.

– Да такой суммы, – говорю, – в кошельке моем никогда и не было.

– А это, – говорит, – вам тоже от меня подарочек. Мне это ничего не стоит, а вам будет чем похвастаться.

На этом мы с ним и расстались...

– Очень любопытно, и рассказано, как по писанному, – похвалил Скарамуцциа. – Вот вам на завтра и целый фельетон; вернете разом мои сто лир.

– Нет, этого я уже не опишу, и вас усерднейше прошу, *signore direttore*, никому ни слова!

– Хорошо, хорошо, – успокоил его профессор. – Но вы не станете теперь также отбивать у меня моего ученика?

– Сегодня ни в каком случае. До свидания!

Точно опасаясь, чтобы Скарамуцциа, в свою очередь, не связал его словом, Баланцони быстро сбежал вниз по крутому склону пепельного конуса. Профессор возвратился к

помпейцу, который стоял, наклоняясь над самым кратером.

Края кратера были покрыты зеленоватым и красноватым налетом вулканической серы; из глубины же, как из громадного адского котла, вырывались с раскатистым громом густые клубы черного дыма, и взлетали вверх с пушечными выстрелами камни и пепел.

– Тебя еще ранит! – предупредил Марка-Июния Скарамуцциа. – Отступи же назад.

– Мне хотелось заглянуть к Плутону, прежде чем сойти туда, – отвечал помпеец.

– Что у тебя на уме? – испугался профессор. – Неужели ты хочешь...

– Спуститься в царство теней? – досказал Марк-Июний с слабой улыбкой. – Да ведь раньше ли, позже ли, все мы там будем? Но сперва надо мне проститься с моей милой Италией.

И, скрестив на груди руки, он с невыразимой грустью загляделся на расстилавшийся глубоко внизу зеркально-голубой Неаполитанский залив с живописнейшею его береговою полосой.

– А вот на горизонте и Капри, – мечтательно проговорил он: – помню, как однажды мы с настоящей моей Лютецией и отцом её посетили там лазоревый грот...

– Друг мой, – с чувством перебил его профессор, – забудь-ка свою Лютецию! Ее нам не воротить; сам же ты еще юн и свеж, так сказать, только что распутившийся плодовый

цвет; а кто же срывает плод, пока он не налился, не созрел?

– Сравнение твое ко мне нейдет, – возразил ученик. – я – цвет, но осенний, которому никогда не созреть.

– Увидишь еще, как созреешь! Изобретен же уже прибор для искусственной выводки цыплят; и тебя мы выведем, – выведем в светила современной науки...

– А что, учитель: современная ваша наука, пожалуй, дойдет и до того, что станет воскрешать, восстанавливать людей, когда их и след простыл?

– Очень может быть, о, очень может быть!

– Ну, вот; тогда ты меня и восстановишь. А теперь прости: меня зовет Лютетия. Да ниспошлют всемогущие боги благодать свою на тебя за всю доброту твою ко мне. Прости!

Марк-Июний крепко обнял и поцеловал наставника. Тот ухватил его за плащ.

– Милый мой...

– А что это там, смотри-ка, – спросил вдруг Марк-Июний, указывая под гору в сторону Помпеи.

Скарамуцция всмотрелся, но ничего особенного не мог разглядеть.

– Ничего я там не вижу... Ах!

Плащ помпейца остался у него в руках, но никого около него уже не было: Марк-Июний с умыслом отвлек от себя внимание профессора, чтобы исчезнуть в вулкане. В тот же миг поглотившая его гора, как бы в адской радости ликуя, оглушительно загрохотала, задрожала. К безоблачному го-

лубому небу взлетела целая туча камней и сверху осыпала ошеломлённого ученого. Но тот стоял, не трогаясь с места.

– Сын мой, о, сын мой... – шептал он про себя, и по суровому лицу его, впервые со времен детства, текли слезы...